

ОБСУЖДЕНИЯ

Проблематика производства текстовых потоков и аналитика метафизического тела языка явились центром внимания миниатюрного “круглого стола”, участники которого на протяжении 1994–1995 гг. регулярно встречались для обмена мнений. Предлагаемый ниже текст — протокольная запись этих обсуждений.

Текст о тексте

Участвуют:

Сергей Долгопольский, к.ф.н. (Институт культурологии);

Сергей Зимовец, к.ф.н. (Институт философии);

Витим Кругликов, д.ф.н. (Институт философии).

{1-я часть}

Есть ли в тексте означаемое?

З.С.: Я предлагаю Вам, Витим, как Кругликову, растолковать нам идею круглого стола, стоящую за этим вопросом — есть ли в тексте означаемое?

К.В.: Первоначально идея возникла из вопроса-сомнения: существует ли в океане текстов текст без означаемого? И когда этот вопрос возник, то возникло и сомнение: а всегда ли существуют тексты только с означаемым? Так возникла идея — а не попробовать ли, взяв ка-

кой-либо текст, то ли заведомо абстрактный, то ли абсурдный, заведомо записанный не в свете общепонятной лексики, текст неконвенциональный, проанализировать такой текст под одним углом — есть ли там означаемое или нет? Прояснить, возможен ли все-таки текст без означаемого.

З.С.: Можно сказать, что вопрос трансформировался в двойственную форму: 1) Существует ли текст без означаемого? 2) Возможен ли текст без означаемого?

К.В.: Это так, но не совсем. Может быть, я не очень точно изложил свою изначальную позицию.

З.С.: Но между тем это неплохой поворот темы.

К.В.: Подождите, я припомню. Вопрос был поставлен так: всегда ли в тексте есть означаемое? Без слова возможен.

З.С.: Не ссылаясь на некоторые авторитеты, которые утверждают, что в тексте вообще невозможно наличие означаемого, я хочу заметить что такого рода позиция с философской точки зрения представляется нам весьма радикальной. Но не менее радикальным представляется и утверждение о том, что все тексты имеют означаемое. Из этих “ножниц” и вышла наша проблема — существует ли текст без означаемого? И теперь мы от архивного вопроса переходим к генеративному — возможен ли текст без означаемого? Мне кажется, что это очень позитивное развитие нашей проблемы.

К.В.: Но если мы входим во вторую планку вопроса, то заведомо бросаем первоначальную идею работы над текстом, которая в своем развитии заключалась в том, чтобы взять один текст для разных людей, для разных типов исследования, и получить какую-то совместную работу, отвечающую на заданную проблему. С тем, чтобы эта работа объединяла разные способы анализа, и тогда, возможно, совокупность разных ответов дала бы какой-то другой ответ, и либо убедила бы нас в том, что такого текста нет, либо — что такой текст есть. Тогда была бы возможна и дальнейшая работа: если мы найдем, что есть текст без означаемого, то возникает задача уяснения, а что же там есть?

Д.С.: Я бы хотел прокомментировать предшествующие высказывания. Мне также хотелось бы прояснить акцию, которая уже совершилась с того момента, когда мы начали говорить. Самой постановкой вопроса уже что-то произошло, и очень важно это “что-то” зафиксировать. Независимо от того, каким путем — архивным или генеративным — мы пойдём, мы должны понять то, что мы сказали еще до того, как начали выбирать между двумя типами пути. Мы условно констатировали, что Ж.Деррида и современная французская философия имеет в виду, что текст с означаемым невозможен. Но,

признавая эту констатацию, тем самым мы признали и возможность текста с означаемым. Самим тем фактом, что мы зафиксировали некоторую негативную ситуацию, что такая мысль оказалась возможной, нужно помыслить и иного типа возможность. Таким образом, еще до того, как мы взялись ставить эту проблему, она уже была поставлена в той констатации, которую мы ввели в качестве воображаемого объекта — Деррида, и от которой мы начали в дискуссии отталкиваться.

На самом деле, мне хотелось это прокомментировать в несколько ином ключе. И хотя мы отдаем себе отчет в том, что мы такого рода предпосылку уже держали в уме и теперь вытащили ее на поверхность, все равно еще есть некоторые предпосылки такого задавания вопроса, некоторые акты, которые остались за рамками нашего обсуждения, и которые дают мне возможность высказаться в пользу того, чтобы взять какой-то один текст. И вот почему. Даже, когда в начале был поставлен вопрос о массиве текстов, уже этот вопрос ставился в рамках предполагаемого данным различия между логосом и лексисом. Уже как бы предполагалось, что если речь идет об означаемом и тексте, то имеется в виду, что есть некое языковое или лексическое выражение и отличное от языкового нечто означиваемое. Можно воспользоваться пока готовой терминологией о логосе и лексисе во всей ее исторической нагруженности. Но тем самым мы воспроизвели бы опять-таки ту же самую ситуацию, с которой со всем своим пафосом пытается бороться французская мысль — ситуацию фонологоцентризма.

К.В.: Не вполне понятно.

Д.С.: Если мы признали, что структуриация отношений между словом и означаемым — это структуриация логоса и лексиса, то тем самым мы ввели или воспроизвели в самой постановке вопроса ситуацию, против которой направлен весь пафос философии Деррида, т.е. что есть некоторое фонематическое содержание, и есть его выражение в устном или произнесенном тексте.

З.С.: Таким образом, это противоречие принадлежит всей допостструктуралистской традиции?

Д.С.: По крайней мере. Нет, это сложный вопрос.

К.В.: По-моему, дело в том, что становясь на позицию, условно говоря, фонологизма, мы имеем в виду то, что эта позиция изначально сама по себе находится в пространстве нашего вопроса: существует ли текст без означаемого? Ведь именно в этом пространстве постструктуральной школой подвергается сомнению фонологоцентрический пафос!

Д.С.: Возможно. Но это не отменяет того хода, который я хотел бы сейчас сделать. Мне кажется, что вариант, по которому предпола-

гается взять один определенный текст, нам подходит. Ценность такого рода шага содержит в себе возможность нефонологического анализа проблемы. Так можно попытаться смоделировать даже ситуацию такой постановки вопроса, когда мы выйдем из этого лого-лексического круга и поставим вопрос иначе.

К.В.: А если мы введём изобразительный, визуальный текст?

Д.С.: Но это, кстати говоря, отдельный вопрос, который мы можем обсудить — какого рода текст мы берем для анализа, письменный или изобразительный. Но опять-таки, ведь и живопись может подпадать под фонологическую рамку. Это тоже проблема, т.е. это структурально как бы не зависит от способа реализации текста. Но она зависит, в частности, от структуры расположения текста и читателя. Нужно выбрать такой текст, который в принципе не допускал бы ситуацию фармации письменного слова или фармацию текстологии в дерридианской нагруженности, т.е. когда текст одновременно лекарство и яд, когда его можно миметизировать без того, чтобы его понимать. Т.е. когда ситуация Федра невозможна: ситуация, когда он может читать речь Лисия и эмпатировать себя в текст, не понимая его. Нужно ли прояснять эту ситуацию эмпатии в мертвый текст?

К.В.: Мне кажется, Вы здесь совершаете некоторый перескок, в результате чего уводите нас в другую проблематику — читателя и текста, т. е. проблематику стратегии чтения.

З.С.: Что ж, это интересно и, очевидно, стоит попробовать. Но я бы пока дистанцировался от двух существенных моментов в нашей постановке проблемы, коль скоро мы взяли обсуждать эту постановку. Во-первых, я не хотел бы оперировать понятием существование, поскольку оно предполагает несколько иное направление нашей дискуссии. Поэтому я и говорил, что переход вопроса в генеративную плоскость более продуктивен. Во-вторых, мне понравился этот логический кунштюк, или, как сказал бы Вл. Ильич, жупел, заключающийся в том, что прежде чем помыслить текст с означаемым, мы должны уже в оппозиционном пространстве иметь в виду некоторый текст без означаемого. И только это отрицательное определение позволяет конституировать некоторое положительное определение о наличии означаемого.

Но этот кунштюк я хотел бы также вывести из сферы обсуждения. Такого рода силлогистика, конечно, может присутствовать в нашей речи, но из сферы обсуждения её нужно вывести. Поэтому, с моей точки зрения, наша задача должна ограничиваться в истоке достаточно ясными посылками, пусть даже в лого-лексических рамках. И в первую очередь, необходимо определиться с понятиями текст и означае-

мое. Если здесь мы имеем в виду лингвистическую терминологию (а её в данном случае миновать невозможно), но анализируем её с помощью философского инструментария, то необходимо определиться в их возникающем соотношении.

Я предлагаю для начала ориентироваться на лингвистическое определение данных терминов, где под означаемым, в отличие от означающего (акустического образа знака), подразумевается понятие (concept, idea), т.е. некоторое поле содержания, семантическое составляющее текста. Конечно, это определение можно дополнять, изменять, реинтерпретировать. Но оно предопределяет наши интуиции и вводит дополнительную проблему: следует ли задаваться оппозицией означающее/означаемое в её указании на референта, для того чтобы прояснить, возможен ли текст без означаемого?

Но прежде всего всё-таки необходимо определить понятие текста, поскольку, например, если оно включает в себя и поле содержания, то говорить нам как бы уже не о чем, тогда наш вопрос просто не корректен. Но раз этот вопрос поставлен, то, очевидно, предполагалось, что поле содержания может не принадлежать понятию текста.

К.В.: Сережа, Вы делаете такой же кунштюк, как и Долгопольский. Конечно, от этих кунштюков нам надо отойти, иначе мы будем постоянно возвращаться к тавтологии. Мы как бы постоянно возвращаемся к изначальной позиции. Кроме того, возникает просто “дурацкий” вопрос: поле-то поле, но смыслов ли? Означаемое — действительно поле. Но поле чего? Если мы утверждаем, что оно поле смыслов, то тем самым предполагаем, что оно наполнено какими-то единицами значения. И здесь же возникает вопрос — тот, что я уже задал к тексту.

Д.С.: Несмотря на все эти кунштюки и контркунштюки, которые как бы расчистили каким-то образом некоторое пространство, нейтрализовав друг друга, я все-таки попытаюсь понять и обосновать, почему ценен выбор все же отдельного текста, а не попытка генерализации проблемы вообще. В чем ценность и значение этого акта? Мне кажется, если мы сможем увидеть это иначе, то это дало бы какое-то различие и тем самым нейтрализацию. Если мы возьмем отдельный текст и не будем его рассматривать как один из многих, а будем его рассматривать как совершенно самодостаточное и самостоятельное, то тем самым мы уже выведем наш разговор из проблемы различия генерализации и архивации. Т.е. если мы будем считать, что текст, который мы держим перед глазами, — это единственный текст, и уже не будем смотреть направо или налево. Не будем сравнивать, а будем рассматривать его как реальность, и все процессы вокруг него

разворачиваются. И тогда, может быть, по моему интуитивному предположению, мы окажемся индифферентными к проблематике логоса и лексиса. И она нам перестанет мешать. Потому что если мы станем воспринимать текст как единственную реальность, единственную...

К.В.: А чем нам может помешать рассмотрение двух или трех текстов? Нам, вероятно, все-таки нужно вернуться к вопросу об означаемом и соотносить его с другим предложением — анализа нескольких текстов, в надежде, что это поможет уйти от проблематики логоса-лексиса (хотя у меня этой надежды нет). Мне кажется, что взять несколько текстов — это уже иная работа, которую можно делать и дальше. Я, конечно, не думаю, что если мы упрямся взглядом в один текст, то тем самым абсолютизируем его, и он предстанет как абсолют, поскольку будет совершаться мыслительная игра с объектом, и этот объект необязательно может сакрализироваться в наших высказываниях. Поэтому здесь абсолютизации, мне кажется, не должно произойти. Но я настраиваю нас на то, что есть смысл вернуться к поставленной Зимовцом задаче определиться с означаемым, т.к. это то, с чем мы работаем. И затем вернуться к выбору текста и проблеме архивности.

З.С.: Вопрос, в сущности, заключается также и в том, что прежде чем выбирать текст для общего анализа, надо определиться: а что мы подразумеваем под термином текст? Ведь так или иначе, но каждый из нас, обращаясь к какому-то тексту, уже как бы видит его возможности на тестирование. То есть наши интуиции бегут впереди нас, и нам просто необходимо их продумать. Давайте продумаем их до всякого выбора текста, чтобы впоследствии не было никаких неясностей и опечаток.

К.В.: Наверное, это действительно нужно. Я даже вспомнил, как все-таки был поставлен вопрос изначально. Причем, мы тогда не оперировали словом “существование”. Он был поставлен так: всегда ли в тексте есть означаемое? Потом уже акценты были сдвинуты, но сначала он звучал именно таким образом.

З.С.: Прежде нам нужно было бы провести психоаналитический сеанс... Ведь мы опять пришли к нашему изначальному “травматизму”. Ну что же, так поставленный вопрос более приемлем, чем его последующие трансформации.

Д.С.: Первый вопрос: что мы будем понимать под означаемым? Во-первых, я хочу зафиксировать сомнение в том, можно ли давать генеративное понимание до исследования самого текста. Может быть, сам текст будет инициировать то или иное понятие. Предположим, что мы все-таки решились на это. Но пока для меня остается такая проблема: если мы даем вот такого рода определение означаемого (оз-

начаемое — это план содержания, отличный от плана выражения), то тут, при всем том, что форма этого выражения, на мой взгляд, приемлема, могут стоять совершенно разные планы содержания за таким выражением — что такое означаемое. Для меня было бы важно — притом, что я согласен с формой выражения о том, что такое означаемое, — разобраться с этим содержанием, которое имеется в виду. Мне было бы интересно, если бы мы обсудили значение такой вещи, как энтимема. Это слово сейчас нужно ввести, поскольку оно дает для нас возможность некоторого эвристического хода. Энтимема — это категория, введенная Аристотелем в “Риторике” для обозначения того, что делает выражение самоценным относительно выражаемой мысли. С помощью понятия энтимемы Аристотель вводит понятие фигуративности. Это как бы мои интерпретации. Но под фигуративностью Аристотель понимает такое выражение, в котором как бы спаяно выражаемое и выраженное, т.е. выражение и план содержания. Настолько спаяно, что при перемене выражения теряется план содержания. Это и есть фигуративность; что на простом языке звучало бы так: настоящий поэт — это тот, который сказал что-то такое, чего другими словами уже не скажешь. То есть для Аристотеля, в отличие от Платона, становится важным само выражение, а для Платона иначе: есть мысль и ее можно выражать десятками способами, более или менее адекватными, но главное — многими. У Аристотеля это как бы немного по-другому: есть самоценность выражения. Так вот, энтимема — это структура выражения, которая предполагает, что содержащееся в уме не получает наличного проговаривания в тексте. Но как бы индуцируется им. То есть энтимема для него отличается от силлогизма. В силлогизме вся мысль проговорена, выражена. Есть план содержания, он соответствует плану выражения. Буквально. Однозначно. В энтимеме, а это как бы неполный, усеченный силлогизм, некоторая часть не проговаривается в силу того, что считается общеизвестной в какой-то микросреде, где совершается непосредственно акция общения, передача смысла. Если же потом приходят люди и застают лишь протокол, то для них эта энтимема оказывается проблематичной. И одна из задач реконструкции, и притом основная, т.к. если мы имеем дело с выражением, а не просто с логикой мысли, то для нас эта реконструкция — странная энтимема, той энтимемы, которая была сама собой разумеющейся для участников общения, но которая неясна для нас, решает все. В пределе — текстовое выражение без означаемого — это текстовое выражение без энтимемы.

И если мы при этом сделаем еще один ход и попытаемся взять текст как самодостаточный, как некую реальность, то тогда для нас

это будет означать вопрос: а какие энтимемы этот текст за собой выстраивает? Или: возможен ли текст, не выстраивающий энтимем? Чисто инструментально я бы мог изложить эту проблему так.

К.В.: Это красиво, и я готов с этим согласиться. Но мне кажется, что в современном понимании текста (включая и пафос французской школы) как раз отсутствует то, что Вы обозначили аристотелевской энтимемой. Я также ощущаю неприятие понимания текста как текста, как некоторого продукта, сделанного машинным образом. Я имею в виду то, что подразумевается под “машинной письма”. Мне даже подумалось, что в таком конституировании текста отсутствует его действительное бытийственное, онтологическое богатство. Но при этом претензия на то, что машинный текст существует и обладает онтологическими свойствами, заставляет рассматривать его не столько как текст, сколько как онто-текст. Но сама многообъемность содержания онтологии текста, идущая от Хайдеггера, вообще от немецкой традиции, все-таки сводится к тому, что текст скорее понимается не в узости машинообразного продукта или творения, а как нечто самодостаточное в плане его бытия, в плане онтологической полноты. Термин онто-текст ввел немецко-грузинский философ Гиви Маргвелашвили. Его интерпретация как раз и предполагает существование в тексте некоторых возможных вещей, которые не охватываются определением “машинной письма”. Когда о тексте говорят как о некоем продукте машины письма, машины речи, машины языка, дискурса, здесь всегда пропадает, зависает то, что вы назвали энтимемой. Исчезает какая-то реальность, которая и стоит за текстом, и содержится в нем. И та самая вещь, которая стоит за текстом, как бы говорит нам о том, что есть смысл больше рассматривать не просто текст как текст, но как текст-произведение. Иначе он остается только протоколом, документом.

З.С.: Я возражал бы против сведения понятия “машинной письма” к процедуре протоколирования. Под машинной письмой имеется в виду ряд конечных, аналитически повторяемых операций, но то, что возникает в результате такого производства, отнюдь не лишено “онтологического богатства”, просто здесь отсутствует мифологизация и романтизация художественного процесса. Я думаю, что мы об этом ещё поговорим. А вот то, что Вы даете определение тексту (онто-текст), это уже существенно.

К.В.: Но Долгопольский, между тем, поставил другую проблему. Насколько я понял, в его высказывании об энтимеме где-то произошла идентификация текста и выражения.

Д.С.: Такая проблема соотношения текста и выражения действительно существует. И это требует особого рассмотрения. Я же считаю,

что своей постановкой проблемы в сторону не ушел, а хотел очертить введенное Зимовцом означаемое в качестве семантического выражаемого и прояснить проблему текстового выражения и текста: для нас эти вещи совпадают, или мы их разводим?

К.В.: Мне кажется, что это сейчас вне нашей проблематики.

З.С.: По-видимому, энтимема — это частный случай силлогистики. Текст же, *textum* — это связь, соединение, в её/его выражении, которое, в свою очередь, может быть любым: кинофильм, рисованный комикс, письмо и т.п. Всё-таки главное для меня — включает ли философский подход в понятие текст семиозис или нет?

Д.С.: Почему же вы тогда акцентировали выражение как таковое?

К.В.: Потому что Вы его идентифицировали.

Д.С.: И тем самым я как бы его уже и (по)решил.

К.В.: Я в связи с этим вспоминаю, что у Набокова в “Даре” есть в первой главе то, как Чердынцев описывает свой поэтический сборник и критику Кончеева на него, когда последний его прочитал и хорошо отозвался о нем. Чердынцев (или здесь сам Набоков?) задает себе вопрос: действительно ли Кончеев понял, что главное в этом сборнике не “живописность”, и неужели он понял, что “ум, зашедший за разум”, вдруг возвращается с музыкой? И дальше у него идет фантастическая фраза: “неужели он понял, что стихотворение нужно читать по скважинам?”. Я этим примером хочу сказать, что, фактически, если мы переходим к тому, что избираем текст для нашей работы — поэтический лингвотекст, то для нас тогда данный текст существует уже как некое непрозрачное выражение. И в ландшафте этого текста, выстроенного таким образом, что в нем есть какие-то прямые и обманные препятствия, наш глаз, ориентируясь в этом ландшафте, двигаясь по этому тексту, вдруг находит не обманную ложбину, а действительную щель, по которой можно опуститься и выявить поэтический смысл, “вернуться с музыкой”. Может быть, в этом плане нужно согласиться с Зимовцом в том, что означаемое — это поле смыслов, хотя все во мне вопиет против того, что это так. Но приходится согласиться хотя бы в том, что это поле, поле чего-то. Мне же ясно одно — проблематика выражения и текста здесь не столь важна на этом этапе и есть смысл двинуться чуть дальше, и текст — это, в общем-то, темный лес, пустыня, которая темна тем, что в ней возможно обнаружить какую-то щель, или скважину. Я бы здесь солидаризовался с Набоковым в том, что для того, чтобы прочитать текст, чтобы узнать, есть ли там означаемое, нужно двигаться по скважинам.

Д.С.: А всегда ли оно там, в “скважинах”?

З.С.: Касательно “скважин”. Я думаю, что с этим в первую очередь охотно согласился бы Фрейд. И вообще, вам не кажется подо-

зрительным этот ряд метафор вокруг поэзии: щель, скважина, ложбина... Ох-охо...

К.В.: Гах!.. Кх... Ну, ладно... У меня есть какое-то внутреннее несогласие с определением означаемого в качестве поля содержания. Тогда мы словно зачеркиваем, стираем вещь, или то нечто, которое выявляется как не-результат. Представьте, вот я поэт, пишу и создаю какой-то смысл, который получается на выходе в результате каких-то совершенно бессмысленных действий, при помощи бессмыслицы. Означаемое тем самым не только поле смыслов, но и бессмыслицы.

З.С.: Да нет же! Текст не делается посредством бессмысленных действий. Никто этого не утверждает, даже сюрреалисты с их автоматизмом бессознательного. Но если Вы понимаете текст только в качестве репрезентации, то, конечно, он всегда обладает полем содержания, в том числе и бессмысленного. С моей же точки зрения, возможны тексты, которые ничего не репрезентируют, даже самих себя. В этом плане — у них нет пространства содержания. Тем самым я утверждаю, что текст без означаемого возможен.

Д.С.: Но тогда под означаемым Вами понимается референция.

З.С.: Не вижу особой проблемы. Референция — это просто другое имя означаемого, применяемое в англо-американской лингвистике. Ч.Пирс называет его также интерпретантом. Но если мы понимаем текст только как репрезентацию, то мы, помимо того, что должны ввести то, на что она указывает, т.е. референт, мы просто снимаем нашу проблему, т.к. референция оказывается внутри определения не только знака, но и текста как такового.

Д.С.: Если пойти и дальше таким путем, то тогда что остается от текста, если из него вычесть референцию?

З.С.: Но ведь это и есть наша проблема! Весь вопрос в том, является ли текстом то, что получилось в результате вычитания?

Д.С.: С моей точки зрения, когда вычтена референция, то и остается текст. Остается фигура текста. И только тогда можно спрашивать об означаемом.

З.С.: Вот вам и первый ответ на вопрос “есть ли текст без означаемого?": текст — это как раз то, что лишено означаемого. Но пока это отрицательное определение, очень близкое к утверждению Ж.Деррида, правда в отношении письма. Вы могли бы эксплицировать интуитивное определение текста в позитивном виде?

Д.С.: У меня есть предложение, так сказать, технического свойства. Давайте понимать под текстом некоторую совокупность различий. Различий между означающими.

З.С.: Следовательно, текст — это некая копилка означающих, материальных носителей выражения.

Д.С.: Не будем спешить... Совокупность различий, которые различимы тем, что оппозиционированы друг другу. Кроме того, эти означаемые определенным образом выстроены.

З.С.: Соединены. Соотнесены. Значит, там есть структура. Структура синтаксиса.

Д.С.: Да, в тексте есть и синтаксис, и грамматика.

З.С.: А по риторике они соединяются определенным образом? Риторические фигуры там присутствуют, помимо грамматических форм?

Д.С.: Это очень хороший вопрос. Да. Они могут там присутствовать. Но если в тексте присутствуют риторические фигуры, то там присутствуют и энтимемы. Так что же это меняет?

З.С.: Постепенно выясняется, что в тексте есть не только различие между означающими, но и структурная их организация. Что же мы получаем в результате?

Д.С.: Выражение. Да... ничего не поделаешь.

З.С.: Вот именно. Исходя из Вашей логики, мы пришли к тому, что текст — это план выражения, или то, что называется означающее — ни больше, ни меньше. Таким образом, минимальной единицей текста является не знак, а графический, визуальный или акустический его образ. План же референции, в качестве другой стороны знака, для текста в рамках данного определения и является нашей проблемой.

Д.С.: Но, однако, выражение всегда энтимематично. Хотя, конечно, это достаточно провокационное заявление.

К.В.: Но мне кажется, что есть смысл отказаться от того, что текст — это только план выражения.

Д.С.: Здесь речь идет вообще не о сумме, а о различии означающих, к тому же о структурировании, которое их определенным образом упорядочивает.

З.С.: Хотя я был бы не против такого предварительного определения текста, оно, конечно, требует “доводки”. В моем понимании текст — это скорее всего дискурс. Но и предложенное — вполне рабочее определение. От него отказываться, мне кажется, не надо. Не успею приобрести, мы уже отказываемся. О русский дух...

Д.С.: Поле, поле, кто тебя усеял...

З.С.: Действительно, кто засеял это хитрое поле текста? Буратино? Он закопал свои пять золотых в поле выражения, а мы теперь ищем. Может ли быть Поле Чудес без золотых? — вот в чем вопрос. Или это бывает только в Стране Дураков?

Д.С.: В общем, проблема требует уже определения не только означаемого, но и означающего. И необходимо еще раз уточнить отношение референта к означаемому.

К.В.: Мне кажется все же, что Вы, Сергей, принудили Долгопольского к сведению текста к выражению. Я понял так, что для Долгопольского текст — это совокупность различий, и посредством различных риторических фигур — организация различий. И коль скоро это организация различий, именно в этих рамках нам и лучше было бы поработать.

Д.С.: Здесь во всей силе — в том числе и риторической — предьявлена формулировка: организация различий... Хайдеггер говорил, что когда мы слышим шум открывающейся двери, то мы слышим не сам шум двери, мы слышим классификацию. Вещь как таковая ушла. Для Хайдеггера всегда существует (и мы этот жест должны удерживать) риторический статус собственного говорения о тексте. Мы должны определиться, каков статус нашего говорения о тексте. Конечно, надо бы ставить вопрос не вообще, не генерализовать его, а соотносить его с каким-то конкретным текстом, который мы будем разбирать. И мне кажется, что в качестве такой эвристической гипотезы (которую потом можно и отбросить) может служить напоминание о двух типах фигуративности, двух типах риторики говорения о тексте, в двух смыслах: риторика говорения о тексте и в то же время риторика самого текста. О риторике речь идет здесь постольку, поскольку речь идет о фигуративности, т.е. о каком-то типе сплавов, спайки выражения с выражаемым, и именно поэтому речь может идти только об этом тексте. Рассматривая текст в его *этости*, мы и можем увидеть существование двух типов фигур, которые я хотел бы ввести далее. Терминологически я обозначил бы их как фигуры наблюдения, или созерцания, интуиции и фигуры включения. Под фигурами наблюдения я понимаю ту *этость текста*, которая организует его различие, т.е. выводит некоторое различие в качестве выведения и поставления (это нуждается в рассмотрении) различения в присутствии некоего лица. Фигуры включения — это такие типы фигур, которые образуются так, что *этость текста* оказывается не организацией различия, но так, что в его устройстве фигуры отсутствует инстанция наблюдателя. Это состояние может быть достигнуто разными путями. Например, отсутствие наблюдателя может быть достигнуто тем, что текст предполагает сразу несколько позиций, требует удержания нескольких позиций, чтобы находить в своем ландшафте вилку фигуративности через циркуляцию сразу нескольких точек. Например, тех, которые Ж.Лакан обозначает в качестве четырех позиций, четырех одновременных то-

посов в рамках фигуры, и чтобы эту фигуру удерживать, необходима постоянная циркуляция между ними. И если фигуративность такого типа в этом тексте фиксируется, то тогда, при условии выделения данных типов фигуративности, мы должны иметь два разных вопроса о том, всегда ли в тексте есть означаемое.

К.В.: Мне очень понравилось Ваша реплика. Мне кажется, что у нас здесь спонтанно возникло два понимания плана выражения. И то, что Зимовец принуждает нас обратиться непосредственно к лингвонормам и от них двигаться, то сопротивление, которое я интуитивно чувствую, а Долгопольский хорошо это высказал, оно присутствует в нашем разговоре о тексте. Мне кажется, что если мы все же согласимся с какими-то лингвистическими определениями означаемого и текста, то мы будем искать то, что и будем находить, т.е. мы будем заведомо находить то, что там есть, т.е. то, что и не надо находить. Мы можем еще варьировать или спорить с Бенвенистом или еще с кем-то. Но находить мы будем опять же нечто лингвистическое. Когда мы обратимся с таким конвенциональным для нас инструментарием к тексту, то мы из этого текста вытащим то, что вытаскивали, скажем, Якобсон или Лотман. Сугубо проблемы лингвистической определенности или неопределенности того, что существует и живет в некотором заклинающем образе. Если часто повторяют слово текст, текст, текст, то оно покрывается некоторой суггестивной, магической пленкой, дополнительным пленочным смыслом, и тогда начинают задумываться о дефиниции: как вообще его определить? Ход, который предложил Долгопольский, я имею в виду фигуры наблюдения и включения, кажется весьма продуктивным. Разумеется, мы должны учитывать общепринятые лингвистические понятия означаемого и текста, но работать с ними надо бы уже на ином уровне.

З.С.: В том-то и дело, что Долгопольский, по существу, хитрым ходом ввел те же самые лингвистические определения. У него, по-моему, совершенно лингвистический (точнее, семиотический) подход к тексту. Но то, что он подразумевает под фигурами наблюдения и включения, требует принятия в определение текста фигуративности как таковой. Что же нам делать тогда с нефигуративными дискурсами?

И еще одно. Основная трудность работы с фигуративностью заключается в том, что она опять же тесно связана с репрезентацией. По общепринятому у семиотиков мнению, фигуративность отсылает к некоторой априорной установке, согласно которой любой текст — это некоторое изображение мира, поэтому лексемы текста выражают не просто семиотические фигуры, а уже как бы готовые образы действительности. Все дело здесь в том, на каком уровне определяется эта

фигуративность, в её претензии через собственную иконизацию произвести иллюзию референции к миру.

Конечно, вслед за Ж.Женнетом, мы можем апеллировать к когнитивному субъекту, называемому наблюдателем, если мы принимаем саму фокализацию (установку фокуса, конституирующего функцию наблюдения) текста. Или бродить в дебрях актантного переключения (то же, что и включение), если такая фокализация из единой точки невозможна (тому пример заклинательные тексты шаманов). Но так или иначе, мы должны прежде всего определить, из какого понимания текста мы отправляемся. Так и Долгопольский, предварительно определивший текст как организацию различия, теперь вводит дополнительные протезы, чтобы эта дефиниция стала рабочей, и эти протезы теперь предполагают наличие в тексте помимо выражения еще и выражаемого, т.е. по сути означаемого. Я лишь только отмечаю новую травестию в интерпретации термина “текст” и призываю продумать ее противоречивость.

К.В.: И все же, когда мы апеллируем к Хайдеггеру, то у него текст имеет совершенно лингвистическое понимание. Он его представляет и понимает не в лингвистической определенности, вне той лингвистической реальности, которая обладает статусом собственной онтологии, той, которой пользуются, скажем, Якобсон или Бенвенист.

З.С.: Давайте решать эти проблемы в следующем шаге анализа. Сейчас же мы пришли к выводам: а) что эта проблема (именно в данной постановке) не так проста, как на первый взгляд казалась; б) прежде чем осмыслить и войти в проблему, мы сталкиваемся с рядом сугубо инструментальных, и в этом смысле философских, задач, а именно: мы должны, хотя бы в начале пути, находиться в каком-то общем конвенциональном поле, устанавливающем минимальную возможность соглашения для последующей работы с материалом. Вполне очевидно, что в нашем случае такое конвенциональное поле возможно. Я предложил самую простую и естественную конвенцию: поскольку термины текст и означаемое — лингвистические термины, необходимо отталкиваться в своих интуициях от лингвистического их определения. И предварительно в отборе материала руководствоваться этими первичными определениями. Далее каждый волен реинтерпретировать и переопределять эти термины так, как посчитает необходимым, приводя, соответственно, свои аргументы.

Д.С.: Это нормально. Итак, в принципе эти определения уже даны. Правда при данном определении текста — организация различий — уже возникает и проблема означаемого. А это проблема лица. К тому же оно не во всех фигурах присутствует.

З.С.: И проблема ландшафта... Поскольку ландшафт — это лицо, опрокинутое в мир. Несомненно, что текст построен по принципу человеческого лица. Лицо — не просто визуальный образ, это антропоморфный тип связанности, тип структурирования и соотношения слов и вещей. Лицевость заложена в самой природе антропоморфного взгляда на мир. И именно вне лица происходит откос знака к сигналу, к психофизиологической метафоре животного. Но несмотря на все эти проблемы, текст все же необходимо учреждать.

{2-я часть}

Учреждение текста

К.В.: Продолжим, памятью о том, что мы остановились на двух вещах: а) согласились, с большим сопротивлением, но согласились с Зимовцом, что означаемое — это план содержания, и б) что текст — это организация различий, или организованное различие. И в связи с этим мне только хотелось бы сказать, что коль скоро мы вышли на эту позицию, то у нас ситуация как бы, с одной стороны, облегчается, а с другой, — осложняется задача выбора текста, поскольку речь может пойти сейчас уже не о выборе текста, а я бы так сказал, о назначении текста, учреждении текста, который мы будем разбирать, с которым мы будем работать. То есть я здесь вижу некоторую принципиальную разницу между выбором, поскольку мы как бы исходим опять же из тех самых — то, что Вы, Сережа, говорили тогда — интуиций о том, что такое текст и что такое означаемое, даже если мы их не развертываем, но из этого интуитивного представления мы исходим. А коль скоро мы это делаем, но не желаем или не даем возможности заставить себя попасть в какую-то логическую ловушку, и вместе с тем не желаем эти интуиции развертывать дальше, то есть смысл говорить об учреждении текста для разборки. Что касается радикального отказа Зимовца от работы именно с псалмами Сапгира, то здесь мы должны отказаться заведомо от того, приятен нам текст, нравится, получаем ли мы удовольствие, то есть от эстетических всяких вещей, и брать текст только с одной задачей — с одной целью, для одной работы, а свои оценочные предпочтения и переживания по поводу текста постоянно должны отсекают.

А теперь я предлагаю следующий первый шаг для учреждения этого текста. В этом плане псалмы Сапгира могут быть представлены

как текст, не говоря о том, что тут возможна проблема другого рода, что коль скоро это организованное различие, я предлагаю даже больше пользоваться этим словосочетанием, а не словом текст... Но, коль скоро это — организованное различие и в нем есть поле содержания, то возникает проблема, если мы назначаем на должность, на статус текста, скажем, вот этот псалом, то возникает вопрос, что мы как бы производим вместе с Сапгиром операцию стирания бывшего текста, то есть мы стерли текст канонический, текст библейского псалма. Но тут мне бы хотелось еще сказать, что есть смысл все-таки каким-то волевым усилием пойти от предпосылки непосредственно императивного назначения на текст. Скажем, стихотворение В.Некрасова, в котором есть хотя бы признаки организации различия. То есть, может быть, из трех текстов или уже три текста нам придется назначить для разборки. Итак, вот текст В.Некрасова:

– “КПРСТФХЦШЩ” –

Сережа, что вы так испугались?

Здесь я еще хочу добавить, что для того что бы обнаружить какие-то заметы в ландшафте этого текста, и чтобы Сережа меня не упрекнул, как в прошлый раз, в сексизме, можно сказать бугры, хэ-хэ-хэ...

Д.С.: Вместо щелей и впадин?

К.В.: Вместо щелей? Да! Гхаэ-ха-ха! Можно тогда иметь ввиду, что ландшафт текста записывается не столько, как Зимовец говорил тогда, через лицо, пишется в соответствии с лицом, но что это происходит — с поверхностью человеческого тела. Почему я об этом говорю? Когда-то я в умоиступлении в диссертации написал одну фразу, которая тогда мне была очевидной, она светилась и была ясна, но потом вопросы Зимовца угномили мою, так сказать, ясную позицию. А фраза была там такая — что в современной языковой ситуации, в современном гуле языков утончилась пленка между означающим и означаемым. Так вот, как бы пойти по какому-то такому тексту, чтобы зацепить и эту проблему. А сейчас есть смысл обсудить проблему назначения на текст тексты Сапгира, или Некрасова, или Крученых, чтобы как-то уже двинуться дальше.

Д.С.: У меня тоже сложилось ощущение, что просто уже пора действительно совершить акцию назначения, без всяких мотивов. И я думаю, Витим, эта задача ложится на Ваши плечи.

З.С.: Я бы хотел сделать несколько замечаний, относительно того, что было сказано. Безусловно, когда мы говорим о том, что тексты организованы исходя из принципа лицевости, то есть антропоморфно, это

совершенно не означает, что в этом не участвует тело человека, ландшафт этого тела. Мы просто говорили о том, что происходит в классическом, каноническом тексте, то есть об антропологическом каноне, который опрокидывает себя в писание этих текстов, в создание этих текстов. Совершенно очевидно, например, что существуют анальные тексты. Простой пример. Дневники Гиммлера, записные книжки его: страницы, даты, записи и множество цифр. Цифры, цифры, цифры... подсчитывающие — что? — совершенно нам не известно. И никому из биографов точно не известно. Но что-то Гиммлер подсчитывал. Но этот подсчет не является просто незначимым арифметическим подсчетом, иначе он не вносил бы его в записные книжки, где он писал об отношении к женщине, об отношении к политике.

К.В.: То есть там присутствует энтимема.

З.С.: В каком-то смысле, да. Этот текст — чисто анального характера, поскольку значит не как набор цифр, не как сложение, вычитание, умножение, — у него иное значение. Это значение упорядочивания каких-то сущностных процедур в ментальном поле Гиммлера. Это то, что, собственно, у него отмечали психоаналитики (в частности Фромм): у Гиммлера был психоневротический анально-садистический комплекс. В этом смысле все зоны, антропоморфные зоны тела, так или иначе специфическим образом опрокидываются в текст, репрезентируют себя там и, более того, определяют конфигурацию этого текста. Этим высказыванием я как бы снимаю узость прежних рассуждений на эту тему.

И второй вопрос, или второй момент, который я хотел как то выделить, отметить, может быть для того, чтобы двигаться дальше. Да, несомненно, текст может быть учрежден. Несомненно. Но сейчас, не касаясь конкретно псалмов Сапгира, я говорю о них, хотя еще их не анализировал.

Для меня, несколько парадоксально, но ситуация может выглядеть следующим образом. — Итак, у меня есть представление о том, что текст может быть лишен поля содержания, лишен того самого означаемого, которое мы там ищем. Но я смотрю на текст Сапгира и говорю, что он не лишен его. Моя идея такова, что существуют тексты без означаемого, но данный текст — с означаемым. Следовательно, для доказательства своего взгляда я должен предоставить соответствующий текст, в котором отсутствует поле содержания. Вот в чем весь вопрос. И дело не в том, что этот текст должен быть произвольным, а дело в том, что этот текст должен быть показательным для той концепции, которую я хочу разворачивать относительно этого текста. В противном случае наши размышления как бы уже предзаданы

определенным типом текста. И если в нем есть поле содержания, то о чем говорить?

Для того, кто утверждает, что все тексты лишены поля содержания означаемого, можно брать любой текст, и пусть он это доказывает на любом типе текста. Моя же точка зрения, изначально присутствующая здесь, которая меня и привела сюда, заключается в том, что существуют некоторые тексты, которые лишены (хотя они квалифицируются и классифицируются как тексты) поля содержания, т.е. означаемого.

К.В.: То есть тем самым Вы как бы хотите взять в качестве критерия нам для назначения текст, который не репрезентирует поле содержания.

З.С.: Конечно. А если Вы докажете, что там есть содержание, то это уже замечательно: возникнет поле предельной проблематизации исходных концепций.

К.В.: Вот это прекрасно; хорошо, а вот принцип, так сказать, назначения или выбора он недостаточен. Тогда дело за вами, тогда представьте такой текст!

З.С.: У меня есть такие тексты. Дело в том, что я как-то с одним из них работал. Я бы хотел вернуться к нему, потому что здесь я обнаружил новый поворот всего дела в постановке Вашей проблемы. Я работал по другому поводу с этими текстами. Суть стратегии этих текстов заключалась в том, что в них разрушается язык власти, инкорпорированный вообще в само производство текстов. Это — тексты Хлебникова, которые специфическим образом разрушают возможность любого контроля за его высказыванием.

К.В.: Но не все тексты.

З.С.: Нет, вероятно... Для всех текстов только Деррида мог бы доказать отсутствие означаемого. Но некоторые тексты. Например, “Хию хмапа, хир зэнь, ченчь/Жури кика син сонэга/. Хахотири эс эсэ./Юнчи, энчи, пипока./...” т.д. Для меня этот текст является как раз тем оселком, на котором я смог бы развернуть свою концепцию, показать, что была вообще устранена ситуация знакового. Там была реализована ситуация сигнального. А сигнальное не обладает лингвистическим полем содержания... Я как бы только контрапунктом наметил ту линию, по которой бы начал рассуждать. Не более того.

Д.С.: Ну я бы тогда тоже несколько слов сказал... по поводу контрапункта. И может быть контрапункт этот будет действительно контрапунктом к тому пунктиру, который Вы сейчас обозначили. Ведь если мы редуцируем текст к сигналу, к сигнальному уровню, то есть когда мы редуцируем знак, лишив его функции означаемого, то про-

блема как бы будет немного просто отодвинутой, а не продвинутой. У меня такое ощущение.

З.С.: Прошу прощения: “означаемого”! Я не лишаю его функции означающего, я лишаю его функции означаемого. Функция же означающего здесь утрачивает как символический, так и знаковый характер, т.е. выходит вообще из разряда воображаемого.

Д.С.: Ну, вот тогда нужно чтобы Вы это развернули, потому что в тех контекстах, в которых я могу понимать Вас (я имею ввиду лакановский), сведение к сигналу — это как раз всего лишь, только лишь лишение знака функции означающего. Но об этом нужно говорить отдельно. Сейчас это только начало той мысли, которую я хотел высказать. Я хотел сказать, что в принципе есть один здесь ход, который может иметь ценность. Что если попытаться в качестве структуры, вокруг которой мы пытаемся вообще организовать свои усилия, взять структуру следующего плана: выражение, выражаемое, то, что выражено. И эти три элемента различать вслед за Делезом, вслед за его интерпретацией Спинозы. Условно говоря — вслед за Спинозой. Если эти три элемента (эти три стихии) различать, то тогда, если мы возьмем какой-нибудь текст только в плане выражения, независимо от того, что в нем выражено и независимо от того, что в нем выражается, сам уровень выражения будет ... вещью. Наша задача — найти такую оптику, такой способ смотрения, когда бы способ смотреть на выражение, как на вещь, то есть без его отношения к выражаемому и выраженному (это две отдельных редукции — редукция от выражаемого и редукция от выраженного, их нужно тщательно очень проделывать, технично)... Но вот тем не менее о них нужно просто задать вопрос, что такой ход мысли тоже возможен. И если мы такого рода редукции произведем, то тогда тот тезис, который здесь звучал о том, что любой текст не имеет означаемого, что некоторый текст не имеет означаемого, сведется к тому, что текст — да, но после такого рода редукций. То есть текст, взятый только как выражение. Но это как бы еще и достаточно общая постановка вопроса.

Я тоже должен сознаться, что у меня есть какие-то предвзятости. И было бы, может быть, интеллектуально нечестным о них промолчать на этом этапе обсуждения. И когда я смотрел Сапгира в качестве предварительного обсуждения, то я хотел бы поделиться такого рода наблюдениями. У него есть эвристический ход, который позволяет совершить такого рода редукцию — редукцию на уровень чистого выражения. То есть он включает некоторое высказывание (как это концептуалисты делают) так, что оно, оставаясь во всей своей чуждости, дает нам возможность совершить такого рода редукцию. Ну, на-

пример, вот Псалом 69. Мы знаем, как бы имеем ввиду некоторое обычное содержание этого псалма. И затем теперь мы здесь читаем такую странную вещь: “Боже, поспеши избавить меня от СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ПРАВДЫ” ... и т.д. То есть в текст включаются выражения из гастрономического мира, из мира газет. В нем произведена редукция самого плана выражения и от плана выраженного и от плана выражаемого, которые — эти два плана — я условно, пока, вслед за Сапгиром мог бы назвать планом содержания. Вот, то есть тут у меня тоже есть такая эвристика и я бы хотел, чтобы мы имели ввиду, что здесь тоже есть некая установка, и с нею надо что-то поделаться. Либо сказать, что ее нужно дезинтегрировать, что это очень плохо и нужно сразу избавиться, либо как-то с ней поступить.

К.В.: Ну, у меня, во-первых, сразу так сказать обвинение, Вам, Сережа, в некоторой непоследовательности, в отказе от собственных прошлых заявлений, сводящих текст именно к выражению, мы уже ту самую совокупность различий, то, что является здесь лицом, просто теряем. То есть вы уже отказываетесь от этого утверждения.

Д.С.: Мне-то так не кажется.

К.В.: И вот то, что Вы перешли к псалму Сапгира и в этом смысле попытались сказать, что вот то, что он делает, это как бы и вошло потом в практику концептуальности, что и для концептуальности это так сказать банальное общее место, что фактически текст, скажем, у того же Пригова или у того же Сапгира в данном псалме, который Вы прочитали, текст уходит в жест как единица выражаемого, как выражение, то есть как выражаемое оно смывается, обращается в нечто сверхлитое, в котором невозможно никакое различие. Именно как различие этого дела. И тогда тут возникает и такая другая проблема: а является ли организованная совокупность жестов текстом?

Д.С.: Да!

К.В.: Вот такая проблематика начинает выползать. Поэтому я больше склонен все-таки придерживаться блистательного Вашего в прошлый раз высказанного суждения по поводу того, что текст есть наблюдение и включение. Теперь же Вы сразу отказываетесь от принципа этой работы.

Д.С.: Я бы только...

К.В.: То есть Вы стерли сейчас все что, воздвигали ранее.

Д.С.: Понятно! Я бы хотел это прокомментировать. Я считаю, что одно другого ни в коем случае не отменяет, потому что мне просто думается, что на каком-то этапе, прежде чем анализировать фигуры включения... или после анализа фигур включения, независимо от, до или после (это совсем не важно), нужно построить, совершить неко-

тую редуцию к выражению. Она, может быть, позволит не выстроить саму фигуру включения, а по крайней мере найти материал, из которого эта фигура строится. Может быть это не единственный эвристический шаг, не знаю, но мне то казалось, что такой шаг в принципе был бы возможен. То есть я для себя, честно говоря, не вижу, почему такой тип редукции отменяет прежнее допущение, что здесь такого отменительного.

К.В.: Именно потому, что Вы редуцируете не выражение, а Вы редуцируете текст к выражению.

Д.С.: Ни в коем случае, я не редуцирую и не хотел бы редуцировать текст к выражению.

К.В.: Не хотел бы, но...!

Д.С.: Вот, как раз задача заключается в том, чтобы редуцировать выражение от текста, редуцировать выражение от его отношения с выражаемым и выраженным. Но где именно останется текст после этой редукции — это отдельный вопрос. Я же не говорил, что он останется в зоне выражения. Это важное уточнение, которое нужно действительно сделать. Но то, что такая редукция есть операция, которая, так сказать, открывает поле, в котором где-то можно разместить текст — либо, давайте это обсуждать, в зоне, которая получается в результате редукции, либо в зоне вне редукции. Так или иначе это может быть, служит той операцией, которая локализует текст — там или там.

З.С.: Другими словами, можно ли представить текст как вещь?

Д.С.: Да.

З.С.: Это серьезный вопрос, он имеет смысл и, мне кажется, креативен для нашей ситуации. Но вот в чем все дело, как будто на противоположном полюсе (или не на противоположном полюсе?) тексту мы можем противопоставить вещь. А Витим ввел “жест” как нечто третье, да? Третью возможность...

К.В.: Я ничего не ввел, это Сережа ввел фактическим образом. Я это лишь зафиксировал.

З.С.: Если мы будем редуцировать в тексте план выражаемого или выраженного, мы придем к тексту как вещи, или должны обнаружить его как вещь. В этом смысле для процедуры редукции показательно, например, творчество Пригова. Его невозможно просто читать, потому что мы читаем там не то, что написано. Стихи последнего периода Пригова мы должны только слушать, потому что он *повопляет* свой текст. Несколько строк он повопляет на разные тона. Если мы его самостоятельно прочитаем, то, конечно не обнаружим, что там заложено. Его авторское повопление и является тем, что нам предоставляет стихотворный текст в его аутен-

тичности. В этом отношении пример с Хлебниковым тоже показателен. Хлебников использует звукоподражание, но в данном случае запись этого звукоподражания не несет чисто знакового характера. Почему? Потому что за ним кроется огласовка. И ничего кроме огласовки. Мы стоим перед необходимостью согласовать письмо безотносительно к его содержанию. Мы не знаем, что заключается в этих криках птиц. Мы не можем их ввести в поле содержания аутентичное антропологическому, антропоморфному полю содержания. О чем они там свистят? Что они, или призывают самку, или восторг свой изъясляют, или кричат о том, что им есть хочется, — все эти интерпретации — дело второе, дело третье, может быть десятое. А первое — то, что та огласовка, которой мы придаем эти звуки — ни к чему не ведет в понятийном отношении, не ведет ни к какому полю содержания. И в этом смысле текст становится чем-то иным, чем привычный нам классически воспринимаемый текст.

Д.С.: Вот это тоже можно как-то прокомментировать, потому что когда мы слушаем это что-то, мы моментально квалифицируем.

З.С.: Это проблемы принужденного нам культурного способа ориентации.

Д.С.: И тем самым, как бы происходит операция различения и назначения. Это событие так быстро происходит и нужно засесть, в какой момент: всегда вот-вот или только что, так как это событие.

К.В.: Дело не только в том, что это принуждающие наши проблемы, а дело в том, что когда говорится о звукоподражании Хлебникова, то здесь прорисовывается, обнаруживается, что Хлебников предписывал текст и приписывал текст этим онтически плавающим звукам в мире (то есть приписывал текст телу). То что он делал, это уже, так сказать не текст птиц, не текст зверья, это текст Хлебникова. Это текст, куда, как вот Долгопольский прошлый раз говорил, эсть, свою вещьность, он уже внес, вложил, вменил и угробил. Теперь, вот если вернуться к стиху Некрасова, где нет вообще слова, где просто в произвольном порядке воспроизведен кусок алфавита...

Д.С.: Вы знаете, честно скажу, что я там услышал КПСС — вот хоть убейте! — и этого испугался.

К.В.: Нет, хе-хе! Оно же вначале идет с огласовкой консонантных: Ка-пэ-эр, эс-тэ-у, эф, ха, це, ча, ща — просто набор согласных без гласных — Что вы так испугались?

Д.С.: Как — чего испугался? ...

К.В.: Хе, ха. Я просто говорю о том, что коль скоро назначать на текст, заведомо следуя идее Зимовца, то, что не имеет таких различий, то тогда уже нужно исходить из того, что ни мы, ни тот текст,

который сделал автор и не приписал в него себя как вещь, в него свою эго, не обладает статусом самости.

З.С.: Я возвращаюсь к прежнему нашему разговору. Опять, если мы приняли определение текста как некоторую организацию различия, или организацию различения, то это одно. Если же Вы сейчас хотите сказать, что Хлебников просто записал голос птиц, то тогда текст для Вас представляет не просто организацию различений, а репрезентацию, а всякая репрезентация что-то значит. Если мы считаем что текст что-то репрезентирует, то он всегда содержит поле содержания. Мы его отыщем, шахтера позовем, откопаем, найдем. Лингвиста! ... Всё найдут, если считать, что текст является некоторой репрезентацией, что те знаки, которые написал Хлебников в своих... стихах, эти знаки репрезентируют лишь голос птиц. Тогда мы и говорим, что полем содержания этих знаков являются голоса птиц и т.д. Дело же как раз не в голосах птиц, а в становлении птицего самого Хлебникова, становлении его животным. Он не берет их голоса и не копирует в виде значков на бумаге, он сам претерпевает становление птицего и кричит, или наоборот, через сверстёлочный крик претерпевает становление птицего. И в этом смысле это не репрезентация. Я возвращаюсь. Наше первоначальное определение очень креативно — текст это организация различения. Или организованное различие. Как угодно, но не репрезентация. Это такая архаическая парадигма — текст как репрезентация. А когда он (Хлебников) переходит к такому типу становления, при котором ему не хватает антропоморфного символизма, чтобы обрести свободу сказать нам ещё что-то несказываемое, ему остается только лишь “завыл на луну”. Но он не хочет записать: “Я завыл на луну”. Он просто воет, вот так: ввау-у-у-у! И именно это записывает. Он претерпевает становление животным — вот почему я веду дело к сигнальной системе — к сигналу от знака, в данном контексте он выключает значки как знаки, они не работают как знаки, но для нас они могут симулировать некое поле содержания, если их прочитывать автоматически традиционным образом. Как кажется, все зависит от стратегии чтения. Но если я данный текст читаю “А” как переход от знака и символа к сигналу, то я должен сказать и “Б”, что Хлебников претерпевает становление птицего, животным и т.д. Это уже другое измерение, относительно традиционного анализа текста.

Д.С.: Тогда у меня все-таки к Вам простой вопрос. Вот все-таки эта процедура, которую Вы описали — называется эмпатией. Он птицу в себя эмпатировал?

З.С.: Эмпатия — это нечто иное.

Д.С.: Я просто хочу спросить, может быть термин Вы замените, но пока вот в такой терминологии и проблематике. Может быть это надо понимать так, что Вы мыслите эмпатию как сигнальную, а не знаковую операцию. Оставляя в стороне все вопросы, связанные с репрезентацией. Как мне показалось, все равно имеет место акт эмпатии. Хотя, может быть, я просто не так понял. И он сам по себе является фигурой репрезентации, независимо от птиц, или нет?

З.С.: Мы тут должны ввести обязательно, мне кажется, еще одно понятие — референта, чтобы как-то разобраться. То есть, в каком-то смысле, в психологическом смысле, да, это эмпатия, потому что физически он не претерпевает становления животным. То есть физикалистское тело его не становится телом животного...

Д.С.: “Физически” — это как?

З.С.: Физически — это значит, что Вы его не обнаруживаете хоть каким-то из пяти органов чувств в виде животного, птицы.

К.В.: Почему? Хлебникова часто изображали, т.е. обнаруживали птицей?

З.С.: Я думаю, в этих изображениях знак совпадает с денотатом, если это рассматривать не в качестве символа и репрезентации.

К.В.: Ха-ха-хм-ха! Хм.

З.С.: Так вот я хотел бы уйти от этого термина. Потому что он приводит к некоему физикалистскому типу дискурса. Просто для меня это из биополитического понятийного ряда. Нет, это не эмпатия, это просто становление животным. А становление это такая процедура, при которой нельзя говорить о теле как таковом, вот разве что об имаго этого тело. Тем самым нельзя говорить о психологическом состоянии, как о некотором стратифицированном, четко обозначенном и аналитически расписанном в науках состоянии. Этим состоянием может быть — в данном случае с моей точки зрения — поэтическое состояние. Как полагающий полететь на воздушном шаре ощущает себя птицей, летящей или с крыльями, — мы видели документальные кадры прыгающих с колокольни — так и здесь на уровне поэтического воображаемого, это воображаемое прорывается в сферу реального, которое невозможно означить никакими символами. Поэт может сделать это только посредством сигнала. Сигнала того, что прорыв этот произошел. А как еще? Если он напишет, что стал птицей, то он просто не прорвал никаких пут антропоморфного, он остался в рамках символического, а значит и воображаемого. Прорвать, прорваться к себе в качестве птицы, устранить вечную конверсию, взаимопереход символического в знаковое или символического в воображаемое он

может только лишь показав эту линию трансгрессии особым образом, — когда поток знаков, текстуальных знаков, которые имеют определенный смысл, вдруг прекращается и мы говорим — здесь произошел переход, здесь такое экстагическое состояние, при котором уже невозможно употребление знака. Здесь присутствует только сигнал, который как флажок, отбивает на старте и на финише то, что линия преодолена. И в этом смысле такого рода эмпатия не является сигнальной или знаковой, или переходной. Она является лишь только нашей возможностью маркировать трансгрессивную линию, через которую переходит семиозис к своей аннигиляции. Здесь поэт претерпевает становление, но мы не можем его схватить, мы можем только обнаружить эту границу. Так понятая эмпатия — это способ, которым мы пытаемся объяснить процедуру перехода. Потому, что здесь факт имеет сигнальный характер, это сигнал, который вы сразу идентифицируете не с каким-то объектом, а с отсутствием в себе человеческого измерения.

К.В.: Извините, я тоже идентифицирую: эта птица — женщина.

З.С.: Но, кто она такая?! Дать имя, ввести ее в знаковое состояние, т.е. овладеть ею, — что еще может дать мир антропоморфного? Но таким способом птица неуловима. В сигнальном плане нельзя ничем овладеть, на него можно только реагировать по принципу обратной афферентации.

К.В.: Но! Вот здесь есть одна такая вещь, которую делал Хлебников, когда он становился воплем, становился птицей, и так, как я понимаю, Вы считаете — и Пригов в этом смысле же пытается в своем (говоря Вашим удивительно точным словом) повоплении. Но всегда есть разрушение такой культурной знаковой нагруженности, которая уже предшествует и есть. Ведь когда картины знаменитых импрессионистов были не поняты, не прочитаны, это значит, что они проводили ту самую трансгрессивную линию в плане разрыва прежних способов выражения и далее....

З.С.: Одну минуту, здесь я просто сделаю вставку. Иными словами, классический способ чтения классических картин, который был культурно сформирован, был неприменимым к картинам импрессионистов, последние нельзя было прочитать в том коде, который былработан прежде.

Д.С.: Но код, в котором они написаны был специально рассчитан на то, чтобы отрицать классический код.

З.С.: Это не то, чтобы специально...

К.В.: Сережа! Дело в том, что Вы сейчас ввели классику, но мы сейчас здесь в 94 году и здесь постоянно идет акции прорыва той куль-

турной практики и текстов, и знаковости, которые как только они сложатся, их ломают, их тут же сминают... и осуществляется вот этот поиск. Так что же, текст постоянно меняет свой ландшафт?

Д.С.: Вопрос действительно мне кажется продуктивным. Но пока я хотел, перед тем, как мы пойдем дальше, чтобы мы не потеряли то, что уже наработано. Во-первых, Сергей Зимовец принял то, что эмпатия не является событием. Эмпатия — это процедура телесная, и тем самым она вообще имеет отношение только к вещи, даже не к вещи как таковой, а скорее, к ее образу. Так как она не имеет отношения к становлению, значит не имеет отношения к субъекту. Тогда остается не ясным, как соотносятся тело и образ. Не мыслите ли Вы при этом тело в качестве образа? И тем самым отсекается эмпатия?

Это первое, но если все-таки считать, что этого нет (возможно Вы это проясните), то тогда эмпатия это не событие, а чистое становление. Тогда это могло бы быть продуктивным, но все же такого рода оговорки нужно сделать насчет тела и образа.

З.С.: Тело и образ. Опять-таки я не могу из этого контекста, который несколько уводит нас в сторону от текста, в достаточной мере эксплицировать проблему тела и образа, поэтому многое будет выглядеть аксиоматически. Несомненно, что тело дано только за счет образа, или системы (диаграммы) образов. А.Арто как-то сказал, что тело — это тело, и у него нет органов. Становление коррелирует с телом без органов, как с некоторой собственной диаграммой. Оно может прочитываться через картографию тела, т.е. тем самым через образ, который является генерализацией телесного диаграмматизма. Здесь прямо намечен путь к языку, как способу фигуративной фиксации и грамматики телесной карты. В предельно радикальном виде можно было бы сказать, что тело — это эксцесс языка, который функционирует на уровне производства образов.

Я не услышал из контекста Вашей речи, как Вы понимаете тело, когда говорите о нем. Что значит этот термин “тело” в Вашем употреблении? Уж явно не физикалистское тело, не мышцы, которые нарисованы в Анатомии в качестве нашей “материальной природы”?

Д.С.: Образы там нарисованы. Я заменяю.

З.С.: Там нарисованы не просто образы, там нарисованы диаграммы и схемы, это особая картография с мертвого тела. Это дело более серьезное, чем тот уровень, на котором мы пытаемся о нем рассуждать. Там особый диаграмматизм, который по воле познавательного апофеоза возведен в объективное существо человека. Вне собственного имаго тело представляет собой, возможно, неразрешимую

проблему. И я уже не могу ответить на этот вопрос, не прояснив прежде, а что подразумевают под телом те, кто оперирует этим термином.

Гораздо проще сказать *ко-ко, ко-ко, ку-ка-ре-ку-ку!* И что же это значит? Это ничего не значит в том смысле, в каком мы пытаемся все время выяснить. И для Хлебникова, мне так кажется, это тоже ничего не значит. Там нельзя найти поле содержания, его конечно можно симулировать, но это не поможет приблизиться нам к разгадке подаваемого сигнала.

К.В.: Да, дело в том, что вот Вы Сережа, как бы всё...; проблеме... решили.

З.С.: Нет, проблема только поставлена.

К.В.: Нет, погодите, ну-с, э... допускается то, что Вы говорили, и я соглашаюсь с Вами искренно и без всякой щели, хе-хэ-хе, я вижу, что, в общем, да, есть тексты, в которых нет поля содержания. Я готов согласиться с тем, что вы учреждаете, назначаете, скажем, хлебниковский текст. Тогда всё! Мы ответили на вопрос!

З.С.: Не думаю. Если мы — и это для меня серьезная проблема, которая остается открытой, — находим текст, лишенный означаемого, или, другими словами, поля содержания, то тогда почему мы его читаем как текст, что заставляет нас осуществлять семиозис? Почему тогда это не жест, не вещь, почему это тогда не повопление, почему мы называем это текстом? И это круг. Я предлагаю вступить в и ходить по кругу вечного возвращения.

К.В.: Подождите! Мы можем назвать это повоплением, и еще чем-то. Но это не отменяет то, что мы, скажем, различаем вот этот текст и соглашаемся, что в нем нет поля содержания. Мы как бы еще не отменяем того, что это не вещь, что там нет вещности. Мы же это не отменяем.

З.С.: Я же и говорю, тогда почему это не вещь? Мы же не отменяем....

К.В.: Коль скоро мы читаем, значит...

З.С.: ...значит...

К.В.: ...Значит, это вещь.

З.С.: ...Значит, это текст.

К.В.: ...Значит, в этом тексте есть какая-то вещность.

З.С.: Это было бы слишком тривиально. Нет, это текст только относительно нашей традиционной парадигмы, каким его призывает читать его собственный контекст, в каком-то определенном культурно наработанном отношении, но если вдруг текст приобретает некоторую транспарентность... Есть сигнификативная цепь, и вдруг — Пухх! И есть дыра.

К.В.: Одну минутку, тут у меня такое было соображение. Я вынужден вернуться, и вас призываю вернуться к тому, что учреждение означаемого как поля содержания где-то “вырубил” нас, и мы пошли по этим рельсам. Если бы мы установили, что знак есть соотносительность какая-то с предметом, а предмет, скажем, есть соотносительность с вещью, то предмет — это уже знак, означаемое вещи. Если бы мы пошли таким путем, то, возможно, и переопределили бы означаемое как некоторую фактичность, а не как поле содержания. Тогда можно было бы и отвечать на те вопросы, которые сейчас вы задали к тексту Хлебникова. Почему же мы все-таки читаем с поиском, с какой-то установкой?

Д.С.: Да, к этому я бы добавил еще один вопрос, может быть в этих же рамках. А как это здесь относится, в связи с тем, что Вы говорите, к тому факту, что он это стал вдруг записывать? А не просто [...] Второй вопрос, ...

З.С.: Прекрасный вопрос.

Д.С.: ...у Хлебникова есть большие разработки по поводу возможностей для вот такого рода медитаций. Человек как бы серьезно видел письмо в качестве препятствия и одновременно инструмента для вот таких трансгрессивных становлений. Считал невозможным посредством простого, неписьменного крика артикулировать себя в качестве петуха.

З.С.: Эти два вопроса я объединяю вместе.

Д.С.: Да.

З.С.: Пока же вернемся к предыдущему вопросу Кругликова. В данном случае, Витим, Вы, по-моему, путаете референт (то, на что указывает знак) с означаемым (с понятием того, что означает знак).

Что же касается неписьменного крика, в том-то и дело, что с моей точки зрения, поэт или поэтическое, то как его можно определить, — это особая машина письма. Хлебников не может иначе существовать, кроме как в форме этой машины записи. Тело — это просто эксцесс языка; то, что претерпевает тело, является как бы следствием того, что претерпевает язык. Вот когда эта машина письма работает, ...

Д.С.: Тогда, простите, ...

З.С.: ...в процессе этой работы происходит запись. Не тело кричит...

Д.С.: ...кричит эксцесс...

З.С.: ...не тело в качестве эксцесса языка. Сам язык кричит, вот в чем смысл — здесь кричит не тело, а язык. И поскольку тело является артефактом языка, оно производится этим криком.

Д.С.: Хотя раньше мне слышалось, что кричит Хлебников.

З.С.: Хлебников — это имя, которое мы применяли для индивидуации машины письма, поэтического типа письма, в случае данного жанрового определения.

Д.С.: Тогда, что это за машина? Как она устроена?

З.С.: Вот об этом и нужно говорить.

Д.С.: Что-то мне вспоминается спор Платона с Аристотелем. Один кричит: удвоил проблему, но не решил, другой — нет, решил, хотя и удвоил.

З.С.: Нет, это не удвоение, это просто способ нотации изменился. Ничего не удвоено.

Д.С.: Способ-то, конечно, нотации изменился, но вместе с тем очень многое изменилось.

З.С.: В визуальном смысле — да.

Д.С.: Нет, не в визуальном. Здесь проблема несколько иная. Если раньше существовала инстанция, маскирующая, олицетворяющая всю эту машину, и она называлась Хлебников, то теперь как бы выяснилось, что и тело и Хлебников — это эксцессы такого рода машины. Но тогда, мы как бы должны заново поставит себе вопрос. Все начать с начала. Мы должны уже как бы не ставить вопрос по отношению к языку и по отношению к письму, есть ли такого рода письмо и такого рода тексты, у которых нет означаемого. Мы должны теперь вопрос поставить иначе. А иначе — это значит уже КАК. Как поставить тот вопрос, который нас интересует, больше не маркируя пространство текстов в качестве внешнего по отношению к нам, потому что до сих пор мы так и делали.

З.С.: Вы хотите решать общую проблему.

Д.С.: Нет-нет-нет!

З.С.: Потому что то, что я говорил — это моя частная проблема, она не поддается обобществлению, коллективизации, вот в чем все дело. Ее нельзя поставить как проблему и Вашего типа дискурса и Вашего, Витим. Вы пытаетесь сделать очень одну странную и некорректную вещь, в чем-то некорректную, хотя может быть оправданную. Она как бы проблематизирует то поле, в котором я пытаюсь работать. Вы пытаетесь из своего дискурса навести порядок в моем дискурсе, т.е. вопрошая меня, что я имею в виду и подразумеваю под этим всем, незаметным образом, Вы принуждаете меня к некоторому порядку, который как бы Вам подходит. Но тогда я кричу *кукареку*; Вы, конечно, не видите здесь тела петуха, и я спрашиваю: “Вы слышали крик петуха?” Вы отвечаете: “Да, слышал”.

Д.С.: “САЛАКУ В ТОМАТЕ”.

З.С.: Теперь давайте перейдем к третьему — теперь можно увидеть и услышать не крик, а ... увидеть и услышать — не прочитать — запись.

Д.С.: А увидеть крик можно?

З.С.: Увидеть крик — это и значит не прочитать. Не прочитать это *ку-ка-ре-ку*. И в то же время мы не обращаемся ни к каким другим

системам, ни к системам тел, физикалистским каким-то представлениям о теле, ни к системам знаков, но мы должны разобрать теперь: так что же это?! Здесь, на данном уровне — это не может быть знаком, потому что оно ничего не репрезентирует. Нет тела, которое он репрезентирует.

К.В.: Но звук есть..., звук он не знак.

З.С.: Дело не только в этом. То, о чем Вы говорите, просто отсылает нас к... источнику, к некоторому референту. В данном случае нет референта. То, на что указывает этот незнак *кукареку* — указывает он на какое-то тело? — Нет, потому что в противном случае этому кукареку будет поставлен в соответствие наличный петух с перьями, которого мы можем видеть и описать, и раскрасить, и т.д., и даже, при особой ловкости, съесть. Но я утверждаю иное — знак, лишенный референции и референта, но огласовкой превышающий статус означающего — это сигнал, который работает не со своим источником, а с его приемником.

Д.С.: Мне кажется, что когда мы говорим о том, чтобы видеть голос, а значит, работать со знаком, лишенным референта, то присутствует некоторая вещьность. И то, что между нами сейчас произошло — это модель того, о чем ведется разговор. А именно: существует некоторая САЛАКА В ТОМАТЕ, то есть такое высказывание, которое — это реально существующая, видимая, слышимая речь, и она между нами. И, говоря Вашими словами, из моего дискурса я читаю ее так, из Вашего Вы читаете ее иначе, и она по-разному выстраивается. Но при этом сама существует, то есть остается некий уровень тождества, некая изнанка, САЛАКА В ТОМАТЕ, которая обеспечивает обмен дискурсов и их коммуникацию.

З.С.: Жестко введенный термин существования мы уже оставили в самом начале. Я помню об этом.

К.В.: Сергей просто его использует. Это вещь.

Д.С.: Да, вот есть эта САЛАКА В ТОМАТЕ ...

З.С.: Да, а потом вещи приписываем существование, наличие и т.д.

К.В.: Наличие!

З.С.: Т.е. Вы тут же ее пытаетесь объективировать. Зачем субстанциализировать вещь? Говорите о ней, как о слове.

Д.С.: Хорошо, тогда как Вы можете не субстанциализировать видимую речь?

З.С.: Тем, что я эту речь вижу, я ее не субстанциализирую, а конституирую.

Д.С.: Тем, что Вы эту речь видите, Вы ее субстанциализируете.

З.С.: Нет!

Д.С.: Да, потому что ее видят двое и видят по-разному.

З.С.: Значит, другой слышит, а не видит...

К.В.: Кстати говоря, Сергей, вот скажем, когда Хлебников трансгрессировал здесь плотную массу привычного восприятия, то он менял и адресат, адрес своей речи, направленность своей речи, то есть, ломая видение, он отправлял к слышанию.

Д.С.: Что-то начинаются антропологические, крутые дела, трудно понять.

К.В.: Мне кажется, это достаточно ясная штука, когда мы в привычности нашей читаем текст и как бы видим, — здесь ломается. Здесь совершается насилие над нашим зрением, над нашим стандартным видением — текст принуждает нас слышать.

З.С.: Прекрасный поворот дела!

К.В.: И *кука-реку* — что я слышу? Вот что это? Я знаю, я слышу голос петуха.

З.С.: Теперь нужно сделать еще одну процедуру. Теперь это нужно увидеть, попробуйте визуализировать голос. Простой и отличный пример. Помните классически известный фильм Чарли Чаплина? В поисках золота чаплиновский герой вместе с напарником, почти одуревшие от голода, проводят зимовку в какой-то сторожке. И вдруг в какой-то момент в восприятии напарника Чарли превращается в курицу. Так кто же видит его в качестве курицы? Глаза (физиологический орган восприятия), конечно, не могут видеть его как курицу, то есть эти глаза, человеческие глаза, должны видеть его как человека. Так кто же видит его превращенным? — Конечно, голод видит его как курицу (или огромного петуха?).

Так вот, не глаз как таковой его обнаруживает в виде петуха, это чувство голода организует собой восприятие. Поэтому я говорю о видении голоса. В данном случае речь идет о том, что когда мы говорим, “я вижу этот голос”, мы не говорим о том, что глаз как таковой его видит, здесь видит нечто иное — не физикалистское — что же это такое?

Д.С. Обозначим его “средним термином” между глазом и глазом — глад.

З.С.: Понятно, но я уже отошел от примера и пытаюсь его наглядность соотнести с виденьем голоса в тексте, в который вмонтирован сигнал. Вот на этом как бы нам можно и закончить.

К.В.: Так и что же мы учреждаем?

Д.С.: Вопрос простака: действительно!?

З.С.: Я думаю, мы уже эксплицировали все проблемы, связанные с выбором. По-моему, уже все здесь сказано. Мы косвенно выб-

рали и предварительно проанализировали некоторые тексты. Поскольку для меня важен был текст репрезентативный для моей идеи, для моей концепции, постольку я и предлагаю взять тексты Хлебникова и для расширенного анализа — те же псалмы Г. Сапгира.

К.В.: Но вопрос остается, почему мы их читаем, если там вместо знака сигнал?

З.С.: Да, там возникает проблема: почему это текст и почему мы его читаем? Потому что мы читаем не читая, как тот человек, который видит не видя. Применив правильно в измененном контексте стратегию чтения, мы читаем уже в ином смысле слова. А именно: мы должны “прочитать” само отсутствие — отсутствие поля содержания. И не симулировать его со всеми теми стратегиями чтения, которые привиты нам стереотипами культуры. Не надо симулировать поле содержания там, где оно отсутствует. Надо понять это как определенную трансгрессивную процедуру, которую претерпевает данный поэт, переходя из знакового в сигнальное.

Остается еще одна проблема, которая заключается в том, что определение текста, которое мы ему предварительно дали, уже перестает соответствовать тому, что мы подразумеваем под текстом теперь. Поэтому, может быть, все-таки нужно взять несколько текстов — два три текста — и показать происходящую с ними трансмутацию. Вот в этом смысле текст Сапгира показателен для тех инкарнаций, которые претерпевают попытки семантической локализации текста. Действительно, в сигнификативном потоке Псалма 69 уже есть транспарентные дыры. Скумбрия в томате (sic!). Скумбрия... то есть существует то, что несоотносимо с жанровым заглавием... там уже есть то, что прорывает обычную сигнификативную цепь и начинает говорить нам о чем-то другом. И наконец, в чистом виде мы можем найти такой текст, где мы вообще получаем его вне жанрового классического чтения. По крайней мере, кажется, что в данном случае мы приходим к достаточно удовлетворительному консенсусу. Если кто-то из нас будет утверждать, что везде есть поле смысла, то он должен взять и такой совершенно абсурдный и абстрактный текст, а не просто такой, где поле смысла легко устанавливается.

Я не осведомлен в точности, каково соотношение письма и текста у Жака Деррида, но то, что он называет письмом (т.е. некой суммой визуальных знаков, “следов”), в его концепции не имеет внешнего референта и в игре бесконечных различий просто утрачивает какой-либо определённый смысл. В этом отношении Ж. Деррида как бы предлагает рассматривать любой текст (если его всё же поставить в соответствие с письмом) в качестве означающего, лишённого поля

устойчивого смысла, т.е. текста без означаемого, или, по крайней мере, без однозначно определённого означаемого.

Собственно, мы сами постоянно сталкиваемся с текстами, поля смыслов которых давно и напрочь стертые: это идеологические лозунги, транспаранты, или же повседневные рекламные клише. Судить о природе их смысла, осуществлять поиск их референтов, учитывая, что они являются знаками симулятивной реальности, — дело практически безнадежное. Они индифферентны к любым содержаниям и любым интерпретациям. Они работают в качестве присутствующего отсутствия и не поддаются никакой верификации. Они свободны и независимы от любых контекстов. У Г.Сапгира в его Псалмах мы находим такого рода тексты вкрапленными даже в исповедально-интимные обращения к Богу. Здесь не просто бытом овладевает идеология, последняя овладевает большим — верой. Тем самым не просто не существует идеологически не сделанного быта, реальности, но не существует и сверхреальности вне тотального идеологического производства. Оно употребляет Бога так же, как и салаку в томате (Псалом 69). Транспарентные дыры в тексте — это дыры смысла. Текстуальная поверхность шизофренизируется, т.е. начинает выполнять работу иного рода — симптоматическую и становиться по существу телом безумия.

К.В.: Чтобы теоретическая нагруженность лингвистикой не путалась под ногами, я счел возможным, пользуясь своим правом переопределения, термин “означаемое”, в котором присутствует (как только мы его употребляем инструментально) совокупность разнородных суггестивных значений, заместить в необходимых случаях адекватными, но не онаученными синонимами: отмечаемое, помечаемое, замечаемое. Они вполне выражают то, что мы и имеем в виду — поле смысла. Это не из квасного русизма, а только потому, что они смыслово представляются более чистыми — ведь в термине “означаемое” несутся смысл не только производства знака, но и производства знания, и в нем также спаяны теоретико-интерпретационные знаки.

Тогда для взгляда на текст Г.Сапгира “Псалом 69” у меня в распоряжении текст и отмечаемое. С этим “вооружением” наш вопрос может звучать так: что и как в данном тексте становится отмеченным и в качестве отмечаемого обращается в опредмеченное, теряя свою вещественность, т.е. становится знаком знака, встающим перед глазами, являющимся?

“Псалом 69” не просто многослойный текст. Это, во-первых, заглавие как текст, выполняющее специфическую функцию. Как в таком в нем спаяно отмечающее с отмечаемым. Но, как всякий текст, этот текст говорит и тем самым отмечающее помечает (означивает)

мое внимание адресностью, направляя его в канонический текст. Текст заглавия отмечает в моем внимании, являя себя в качестве особого предмета — силуэта головы, в данном случае — мертвой головы, которая призвана показать, что то, что следует за ней сверху вниз, есть лишь графика, стирающая текст давным-давно имеющийся, но почему-то уже не выполняющий фокусирование в рамках пространства общения. Заглавие в качестве силуэта головы выстреливает отрицанием: Г.Сапгир здесь означающий (ведь он присвоил давно мертвый текст, выкопал труп текста и показал его нам). Заглавие выстреливает и привлечением, как звук выстрела: выстреливая в нас, наше внимание, Г.Сапгир оживляет труп текста. Отрицательное действие, производимое текстом заглавия, в силу контурности, заключенной в нем, как бы говорит нам, что отмечаемое, которое находится в каноническом псалме 69, здесь в представляемом массиве текста не существует, отсутствует. Старый текст уже умер, и в нем с этой смертью, если и было, то умерло отмечаемое.

Таким образом, отмеченным становится канонический текст. И теперь я могу рассмотреть его как предмет. Но что же я могу различить в библейском тексте?

Во-первых, библейский текст в русском переводе (а Г.Сапгир пользовался именно русским переводом, а не текстом Торы, как проверил С.Долгопольский) уже сам по себе является палимпсестом по отношению к оригиналу. В нем оригинал — живой, говорящий текст обращения к Богу за помощью — стерт. И в русском библейском тексте он стерт дважды: первый раз при переводе на церковно-славянский, второй раз — на современный русский язык. Во-вторых, канонический текст также, в определенном смысле, есть палимпсест по отношению к тому всеобщему массиву текста, которым был тот обиходный, живой арамейский или древнееврейский язык. Его ведь тоже нужно было очистить (соскоблить) от шелухи индивидуальных криков, обращенных к Богу о помощи. Т.е. та реальная вещественность в тавтологическом акте повторения выветрилась. Бесчисленные же знаки вещей, соединившись в совокупное целое — текст, адресованный и принадлежащий, приписанный Давиду (означающее в статусе отмечаемого внесено в заглавие пометкой — “В воспоминание”), обратили вещественность этого реального вопля в обвалившуюся скальной породой опредмеченность. Текст канонического 69 псалма поэтому и потому, что он безличностен, не поддается различению. Сейчас в нем нет лица и невозможно различание. В нем отмечаемое тотально, поскольку это вопль о помощи для всех и каждого. Опредемченность в нем проясняется не как лицо вещей, но как их маски (ведь

между оригиналом — вещью и маской вещи — большая дистанция), она во многом призвана не повторить движение лица, скрыть черты, по которым возможно различить (узнать) его.

Псалом Г.Сапгира тоже типичный, так сказать, классический палимпсест, где произведено стирание тотальности вопля индивидуальным выражаемым другой тотальности, выступающей агрессивной совокупностью знаковых различий. Но Сапгир бессилен в этой операции индивидуации, производящейся им в ответ на тотальный текст реальности, который трансгрессивным образом бьется ему (мне) в глаза, нос, рот, подбородок. Мир не лепечет, он не в трепетаны (“шепот, робкое дыханье, трели соловья”), но орет, хохочет, грохочет и назойливо раздражающ в своей постоянной танцующей атаке.

И вздымаясь на пыли сакральных звуков крика о помощи, Сапгир создает в столкновении с ландшафтом, который, в силу своей тотальности, все помечает и перепомечает (переозначивает), и то, что органически противостоит такому однонаправленному империалистическому обращению. Поэт здесь работает как скульптор. Соскабливая канонический текст, он его десакрализует и одновременно сплетает из “новых” слов, лепит ими скульптурную фигуру того трупа, который является выразителем жизни мертвых. Слова эти — вторгающиеся невещественные массы предметов той тотальности, где поэту пришлось “случиться” жить. Графически фигура всего текста псалма Сапгира вместе с заглавием помечает нам перенос в пластику вербальности контуры многометровой фаллической стелы, увенчанной фигурой космонавта с раскинутыми плечами-руками на площади Гагарина в Москве. Эта печатная графика фаллического тела в тексте Сапгира противостоит крику о помощи, направленному к Богу, поскольку поэт предьявляет себя через поедание, съедение искусственного и фактически несъедобного продукта (“от собственного корреспондента “Правды”, “новые происки империалистов”, “салака в томате”, “человек в космосе”, “повидло и джем”). Текст Сапгира сплетен в виде своего рода коврового рисунка, изображающего эротическую схватку двух текстов: канонического (который соскоблен — в нем стерта лицевость и видна только его женскость) и сверхлицевого текста, который в соитии с библейским текстом покрывает (и тем отмечает) его агрессивными знаками своей всеобщности. Т.е. означает при посредстве особой чувствительности стоящего за кулисами поэта. Эта схватка помечена знаками гастрономии антиантропоморфных (искусственных) опредмеченностей. Из всего этого ясно видно, что означаемое переместилось в означающее, которое предстает для взгляда и уха наблюдателя в форме выражающего. Если бы не после-

дня, заключительная пятая строфа текста! Графика ее симметрично повторяет низ скульптуры космонавта, у которой обе ноги, как известно, сливаются в единый бетонный столб, а слова крика о помощи диктуют адрес, где живет (или жил) поэт — числа номера телефона (253.71.47) и два звонка в дверь коммуналки. Когда я вышел из текстового пространства и набрал этот номер, то голос мне ответил: “Отдел кадров тоннельного отряда Мосфундаментстроя”. Т.е. интенсивная акция поэта по уничтожению всеобщности была лишь кратковременным бунтующим всплеском-криком: благородный канонический текст проваливается в тоннель (дыру) Мосфундаментстроя, и знаки опредмеченной тотальности победно и нагло распространяются в мир неостановимо...

Текст Сапгира, по-моему, позволяет визуализировать голос...

Д.С.: Когда давалось синайское откровение, народ стоял и “видел голос”.

К.В.: Это хэ-хэ-ха.

З.С.: Вот эта психоделия физикалистских восприятий коллективного органа рассудочному уму не понятна. Она является своего рода как бы патологией. А мне кажется, что как раз в рамках этой, для обыденного рассудка, патологии и работает поэт. Его творчество вплотную связано с этим психоделическим смещением органов зрения со слухом, с запахами, вкусом. Потому, что он обладает только одним вариантом воспроизводства множественности восприятия — машиной письма.

Д.С.: Или машиной визуализации голоса (именно поэты не ведают, что говорят). Можно даже точнее сказать, не машиной визуализации голоса, а машиной, которая визуализует глад, это уже не голос, а нечто более универсальное. Глад — операция, снимающая возможный антропоморфизм...

З.С.: И в этом смысле Пригов, например, являет собой открытого оппортуниста в поэзии. Его машина письма не обладает возможностями абсолютной записи его повоплений, и он вынужден их дополнительно согласовывать, тем самым поэтическое уже лишено прямого восприятия непосредственно из текста, и мы его должны еще услышать. Он является великим оппортунистом в поэзии.

Д.С.: Что касается огласовки: можно прокукарекать двумя способами. Можно так, что кукареканье будет просто ку-кареку, можно так, что оно будет сигнифицировать кукареканье [ЫХР ЫХКЭ ЫЭХРУ!]

З.С.: Это что?

Д.С.: Ку-ка-ре-ку!

З.С.: А!

К.В.: Это сигнал, особый сигнал языка?

Д.С.: Нет, это то, что осталось от сигнала, когда из него вычли означаемое.

З.С.: Значит мы здесь можем иметь дело с одной проблемой — устойчивого в знаке, которое отображает в звукоподражании то, что принято на письме.

К.В.: Это не знаки уже, сигналы...

З.С.: Вся проблема в том, что мы не можем это записать вне классической формы письма, но мы уже можем прочесть...

К.В.: Нет, нет! Не можем.

З.С.: Но, вот ку-ка-реку, мы записываем, а на самом деле звучание крика петуха не совпадает с той огласовкой, которую предлагает человеческий голос.

К.В.: Мы не можем записать это. Но вот это — магнитофон — записало, а мы записать не можем.

З.С.: Это то, о чем я и хочу поразмыслить.

К.В.: Вот “это” вещь-то и обнаруживается.

З.С.: Ведь не зря Вы говорите, что “это записало”.

К.В.: Да, машина письма!...

З.С.: Это странно, просто надо найти такую машину письма, которая смогла бы это записать. Это очень важная функция в языке — передать то, что мы слышим. Если, конечно, мы способны слышать больше того, что способны записать.

Д.С.: Это уже не язык, конечно...

З.С.: Это все-таки фонематическая процедура.

К.В.: Между прочим, этому есть историко-лингвистический, исторический прецедент. Когда Бен-Иегуда стал возрождать иврит, который, как известно, был записан согласными, то возникла проблема идентификации фонетики. И было выбрано, как наиболее адекватное, сефардское произношение, поскольку как бы было найдено, что именно сефардская фонетика больше соответствует (по книгам, опять же и записям) древним текстам. Но нет никакой уверенности, что этот иврит, который заложил Бен-Иегуда, это тот самый иврит древних евреев.

Д.С.: Более, того, есть уверенность в обратном.

З.С.: Менее того, это как раз тот иврит, потому что того иврита не существует для процедуры верификации, в том смысле, в каком мы придаем здесь слову “существование”.

К.В.: Не любите Вы, Сережа, онтологию.

З.С.: Всë! Всë!

{3-я часть}**Автоматизм — бес означающего без означаемого**

Д.С.: Проблема, вокруг которой я хотел бы построить отчёт и обсуждение восприятия фрагмента из “Зангези”, связана, увы, с традиционной философской проблематикой отношения голоса и письма, слышания слова и видения голоса, иницирующими определённую направленность обращения к Хлебникову с вопросом о возможности текста без означаемого. Не станем сразу же продумывать сам этот вопрос в качестве начала поиска ответа на него, а попробуем обратиться к тому, как этим вопросом возбуждается текст Хлебникова.

Первым приходит чувство сожаления из-за начальной привязанности восприятия текста к фонологической, фоноцентрической традиции. Она проистекает не из настроенности читателя, а задаётся обычным навыком так смотреть на текст. Сам Хлебников тоже, очевидно, имеет в виду этот навык в качестве ориентира, или цели преодоления, или, может быть, вскрытия.

Вскрытие показывает, что означающее обладает определённым автоматизмом самодвижения, близким, на первый взгляд, к ригидному сцеплению означающих по сходству или противоположанию. На этом пути он может увести далеко — и к простому звукоподражанию одних другим и даже к простому, как бы бессмысленному, движению вплоть до распада сцепки означающих, поэтапного распада вначале синтаксиса, а потом и вообще всей грамматики.

Но столь же уверенно автоматизм означающего может оказаться генеративным. Автоматизмы означающего производят особого рода означаемое по схеме, которую можно было бы назвать схемой обратной фигуративности. Такое название оправдано тем, что движение фигуры не образует замкнутой линии или круга выражения, выражаемого, выраженного, как в обычных платонически-аристотелевских фигурах речи, крепящих собою круг обмена выражения, выражаемого и выраженного. Автоматизмы означающего производят означаемое лишь в одну сторону, не крепя комплекс, а раскрепощая всякие устойчивые сцепления внутри него, создавая одномоментные выплески или выкрики, стынущие на какое-то мгновение в пространстве, остужающие пространство. (Может быть, в этом мы уже чуть-чуть ближе к осмыслению хлебниковского скачущего метакомментария.) Однако нельзя не заметить эффекта накопления перекодировки, совсем в духе гегелевских спекулятивных кумуляций (снятий). Может быть, присутствие в “Зангези” рядом и кумулятивного комментария

и чистых записей автоматических производств означаемых — это свидетельство или следствие их дизъюнктивного синтеза, их гетерогенной параллельности, дополнительности.

Читая Хлебникова, мы беремся рассматривать саму фигуративность, в её редукции от фигуры. Мы просматриваем фигуративность в обоих её направлениях — и прямую и обратную, ставя вопрос о ней вне оппозиции идеи и выражения (идеи и мимесиса) и вне их энтимемического слияния. Поэтому вопрос о возможности текста без означающего оказывается вопросом: возможна ли неэнтимемическая фигуративность?

З.С.: Станным образом, но ответ уже как бы состоялся в развёртке вопроса. Возможность работает в качестве потенции, потенция — в качестве эрекции, эрекция — искомой фигуративности.

Между тем звёздный язык гнездящихся богов Хлебникова — не дискурс и не наррация, он — вне жанров. Если это даже автоматизм означающего (что предполагает, кстати, наличие некой машины письма), то фигуративность тут же приходит в виде следствия, пыточного дознания на адекватность применяемой концепции. Другими словами, применение аналитического усилия к тексту Хлебникова инфицирует (скрыто фарширует) последний предустановленными терминами, которые там находятся аналитиком якобы быгующими сами по себе в качестве инструментальной данности, материала.

Можно прочитать Чангару Зангези как мечту гомосексуала (см. каков он в восприятии 1, 2 и 3-го прохожих), можно как Заратустру, можно как Алису Кэрролла... Хотя он просто языкоблуд, т.е. любовник языка, Азбуки мирового языка, и потому — обладает приоритетом словарно-азбучного толкования. Он — орган речи языка. И здесь мы вынуждены дифференцировать потоки означающих, если мы пытаемся дать им имя: Хлебников, Зангези и т.д. Но “вне жанров” — это в первую очередь устранение действующего лица, имени. Только через автоматизм ли?

Д.С.: Всё же нам приходится более детально продумывать статус анализа и “терминологического предустановления”. И мы подвигаемся к выводу, что возбуждения текста Хлебникова иные, чем аналитические эмоции и рационализации. Приглядимся внимательнее к содержанию этого важнейшего аргумента против “терминологического предустановления”. Его можно понимать так, что он направлен против рационализации. То есть против автоматически конформного “удовольствия от текста”. Сам этот аргумент, безусловно, силен в платоновско-аристотелевских кругах мысли. Но он позволяет и иное к себе отношение. Если сам текст инициируется как инстанция, дик-

тующая свое прочтение в режиме автоматизма выражения, в режиме гейзерного производства означаемого, то уже может и не потребоваться особого внешнего места, точки аналитической опоры, с которой можно было бы построить и рационализацию. А кроме того, обнаружение — пусть и совершенно корректное — рационализации ещё не ведет к воздержанию от анализа, а лишь обостряет потребность ответа на вопрос о генезисе этой рационализации из, как мы всё ещё продолжаем говорить, автоматизмов означаемого.

Мы видим, что автоматизм означаемого продуцирует определённые отношения с означаемым и в значительной мере продуцирует само означаемое. Это производство, или непроизводство, означаемого из автоматизма означаемого, казалось бы, и очерчивает контуры работы Хлебникова. Упреждая, но не детализуя, скажем, что текст Хлебникова инициирует и вопрос о более глубоком или, может быть, далёком основании самого производства разграничения означаемого и означаемого, он побуждает спрашивать о производстве самого этого производства, задавая и с этой стороны проблему исследования возможных рационализаций.

З.С.: Говоря об аналитическом усилии, я просто хотел подчеркнуть, что чмок, гул и посвист языка с необходимостью превышает как системы записи, так и стратегии прочтения. И в случае “Зангези” это особенно ясно. Более того, отталкиваясь от сигнификативных цепей речепорождения, Хлебников хотел бы превратить семиозис (в качестве производства) в прямую морфологию тел. Но как соотносится автоматизм означаемого с притянутой за уши фигуративностью, и работает ли в этой проблематике Хлебников?

Д.С.: Автоматизм означаемого виден Хлебникову, и он хочет с ним работать. Но не собственно с автоматизмом, а с ним как с генеративным основанием другого, в том числе и плана содержания и линий отношений, описываемых как форма выражения, как фигура. Если под фигурой понимать вообще такой комплекс выражения, выражаемого и выраженного, и который удерживается, если, и только если, удерживается именно эта форма выражения во всей её эстости. При перемене формы выражения распадается и весь комплекс смысла: выражение, выражаемое, выраженное. При этом, в виде остаточных образований, могут обнаруживаться и такие пары, как выражаемое с новым выражением без прежнего выраженного, и может получаться простое распадение комплекса на элементы.

Работа с автоматизмом означаемого, идущая в таком духе, побуждает избавляться от мыслей о реальности, якобы стоящей за знаком. Так называемая реальность “на самом деле” генерируется (воз-

буждается) плотностью означающего из борьбы его стихий (элементов, букво-звуков, алфавитного письма и из образуемых ими ритмов в том числе и “подражательных” (они подражают тому, что они подражают).

Стихии означающего — его элементы — звукобуквы. Нет слова, нет фразы, но есть движение в пространстве его частей — стихий.

В этом месте, по пути к главному, спросим, почему стихии мыслятся им пространственно? И дадим поспешный, но, быть может, ещё не окончательный ответ: потому что автоматизм предмыслится у него как пространственно организованная машина — в пределе декартовская машина протяжённости.

З.С.: Возможно, всё здесь проще. Мы, кажется, уже косвенно касались этой проблемы. Я имею в виду то, что мы назвали “видеть голос”. Хлебниковские визуализации речи (песни звукописи) сродни чукотским каталогизациям природных тел; причём они — ретроактивны, т.е. идут от именованного к телам, а не наоборот. Миома — синь гусаров, /Зио зя — почерк солнц. Заменяя живо- на звуко-, Хлебников проблематизирует декартово пространство, точно так же, как это делает и чукотский песнопевец, дающий имена недифференцированной прежде среде обитания, осуществляя таким образом звукоположение и звуковозведение в вещь, в ландшафт. Да Декарт бы в гробу перевернулся, узнав о том, что территориализация пространства осуществляется силой звука, а не телами (т.е., с точки зрения Декарта, функцией, а не протяжённостью).

Д.С.: Хлебников оплотняет выражение, раскрывая выражаемое и выраженное как произведённые от изнанки выражения. Она же производит и лицо выражения, известное привычкам читателя. Выражение плотно, а не только прозрачно или темно, по отношению к выражаемому. Есть ли “идея”, стоящая за плотностью выражения? Вопрос — в духе фармации письменного слова. Пафос Хлебникова —нет!

Попутный аргумент к размышлению об этом — слова, рождающиеся из борьбы стихий, перекодируются в зависимости от места в ритме, точнее, не зависят от места и не имеют наличной устойчивости. Раз идея не крепка слову, то сомнительна в своем бытии.

Впрочем, значение этого аргумента легко недооценить, если предсмешать проблему “без означаемого” с проблемой “без референта”. Без означаемого — это всего лишь без инстанции, концентрирующей текст вокруг себя. Без референта — это без идеи в гораздо более реалистическом смысле слова.

Тем самым к списку традиционных фармацевтических вопросов добавился и этот — об означаемом и референте.

Что означается в означаемом? Ответ: означающее. Поэтому “без означаемого” — это вопрос о чистом знаке без функции означающего. Однако и сама оппозиция означающее — означаемое достаточно платонична. Если же внести в нее:

а) элемент аристотелизма, элемент энтимемы, элемент признания значимости фигуративности и

б) элемент “талмудизма” — обязательность и изначальность фигуративности выражения, в том смысле, что фигуративность не с краю и не топична (в духе топики, понятой как существенное приложение к логике), а наоборот, что логика — это существенное приложение к топики. Тогда и топики меняет предмет, она становится искусством (наукой) обязательной энтимемы, наукой, которая вполне вправе пользоваться логикой.

Хлебников видится в перспективе топики обязательной энтимемы — топики изнаночного производства лица и различения.

Такая топики открывает и (как будто) частный вопрос о месте в ней персоны. Персона, скрытое никто, фигурирующая, пока ещё не “поскоблили язык” и не “увидели пространство и его шкуру”, играет роль в метадискурсе Хлебникова по поводу его собственных практик. И здесь, наверное, можно разбирать самостоятельно сами практики, отдельно от их хлебниковской метаинтерпретации, но также и сами метаинтерпретации как элементы его практик. Персона, персоны в метаинтерпретациях присутствуют в ролях, предписанных фонологическими привычками читать. Персоны уплотняют лицо, служат фигурами метатекста. Но кроме того, они маркируют — на метауровне — трансгрессируемое.

Все же можно соотносить хлебниковские изнаночные практики — практики на уровне “шкуры” — с топикой обязательного выражения и видеть их близость в том, что обязательное выражение генерирует план содержания и контролирует форму выражения. Обязательное выражение нуждается в дискурсивном разворачивании своей скрытой обязательности — нуждается в реконструкции=производстве энтимемы, как и хлебниковская генеративность “шкуры” нуждается во встраивании в некий контекст метаистолкования, без которого изнаночная практика Хлебникова не возбуждается, оставаясь в одиноком, единичном бывании — во всех смыслах без означаемого.

З.С.: Конечно, шкурный интерес не может миновать все нормативы выражения и их следствия. Но в потоке сигнификативных становлений, преодолевая знаковый характер сигнификации, Хлебников претерпевает становление птицей, т.е. переходит к сигнальному “означиванию” аффекта. Выход на уровень сигнального маркирует-

ся границей-пределом пристёжки означаемого к означающему. Эта утрата означаемого особенно наглядно продемонстрирована в сверхповести “Зангези”. Текст как таковой, демонстрируя план выражения, здесь не может в своих существенных частях обнаружить план содержания (несмотря на такие титанические усилия Хлебникова, как введение внутреннего словаря к рядам огласовок и повоплений, установление обобщающей сюжетной линии, манифестирование тематизации проблемы языка и слова, фонематический прикид).

Фонация и аффективный резонанс возникают в узлах психофизиологического возбуждения звуковой волны; телесная индукция (животный импульс) начинает превышать сигнификативную гомологию сознания; прорывая поверхность письма (текста), она нагромождает сигнальные торосы, оставляет фонетические метки своего пребывания, не обращая ни к смыслу, ни к значению, не отсылая ни к референту, ни к образу. В качестве чистой интенсивности и неопределённости, эта индуктивность непрерывно меняет среду обитания. И когда она обнаруживает себя текстуально, то именно в этом месте текст не обнаруживает себя. Знак кастрирован. Текст выхолощен. В данной стратегии Хлебников парадоксально реализует принцип доместики: человек (в качестве строителя дома языка) одомашнивается дикой птицей (в качестве истинного телесного начала языка, “спящего бога речи”).

Д.С.: Холостой текст. Автоматизм выражения работает вхолостую, без означаемого фаллоса, а значит, и без означаемого субъекта. Но генеративность такого автоматизма не заканчивается с кастрацией и ею не запускается, производя неожиданное впечатление безучастности в символическом значении фаллоса. Хлебников изначально говорит не в символическом плане содержания и не в воображаемом плане выражения, хотя налицо оба эти плана и на лице их разятие в кастрации.

Казалось бы, холостой текст уже не может допустить брака, не только холостясь, но и abortируя из выражения выражаемое. На изнанке — спаривание фонем, на лице — мелодичный бой колоколов. С изнанки — кастрация означаемого, с лица — брачный благовест — никому.

З.С.: Хлебников — креатор симптомов. Он так устраивает текст, что последний производит посредством лепета (Aha-erlebnis) клинический (в психоаналитическом смысле) эффект. Здесь знак указывает не на знак, а на некое пространство патологии нормативных, грамматических принципов. Процедура собирания тел полностью принадлежит фонемам, но они, в свою очередь, зависят от устройства рече-

вого органа, — что же полагается в качестве начала, или изначально-го? Если это не символическое и не воображаемое, то это — реальное. *Бе-бе и биба-буль* — это ненормированное бытие желания, т.е. его бытие в реальном разряде. Патология тождественна нормативности, и *реддиди дидиди* есть фонематическое указание этого.

Фигуративность тел в качестве суммы симптомов теперь возможна уже в качестве суммы фонем. Как только мы предали их огласовке, мы претерпели становление птицей, животным или колоколом, не задействуя смыслов или образов, нормативно соотносённых с их именами. Речевой орган как творец уступает место становлению без начала, без *imago* и эмпатии. Уже нет никакого уподобления, так как само подобие отсутствует.

Д.С.: Правда, автоматизм выражения в этом случае не перестает генерировать энтимему в бывание, в реальное, делая её выведение на уровни воображаемого и символического факультативным. Факультативным содержательно и актуально, но всё же обязательным в плане цикла потенциально реального. Потому что здесь не остается вовсе никакой линии отношений означающего и означаемого. Просто (боум, как не просто) разворачивается фундаментальная фигуративность тела вместо маргинальной фигуративности знака.

Жест Хлебникова вводит из фармации, господства логики над риторикой (топикой), силлогизма над энтимемой, приводя к огласовке немого, но реального артикулируемого тела и превращая энтимему из подчинённой энтимемы идеи в первичную и обязательную энтимему потенциально согласованного тела, обязательной фигуры выражения. С огласовкой тела, с приданием телу дополнительного качества знака и задаётся мир фундаментальных телесных фигур реального, строится “язык” телесного высказывания.

З.С.: Я бы осмелился сказать радикальнее: строится тело языка высказывания... И всё же, всё же... Как-то неуверенно применён здесь термин “высказывание”, может быть, потому, что он здесь просто ни к чему. Высказывание, в его супостатной агрессии, принадлежит другому миру, оно не может вытерпеть неуёмное шевеление фонем, их постоянную возню, вибрацию и скачка. Высказывание, вместе с его грамматическими границами, — всегда каркас, анатомический скелет со всеми признаками вида, рода и даже пола речевой фигуры. Тогда как тело языка — экстерриториально и как таковое нейтрально. Тело языка — без костей. Совершенно прав был Аристотель, проницательно отмечая: “Ведь границы принадлежат только тому, чьими границами они являются, а число лошадей — скажем, десять — может относиться и к другим предметам”. (Физика. Книга 4, глава 11.)

Д.С.: Когда мы говорим о теле языка высказывания, можно было бы предложить и еще некий вариант терминологии. Можно, как кажется, высказать то, что состоялось выше в виде некоей формулы, утверждения, что у Хлебникова мы встречаем не фигуры речи, (а с ними и платонизм и т.д.), а речь фигуры (Ж.Делёз). Тогда и вопрос о возможности энтимемической фигуративности нужно будет соотнести с исследованием речи фигуры, что, конечно, задаёт особую область работы.

P.S. (Из какого-то места дискуссии выпала эта фраза и нам приходится привести её там, где она упала.)

Из перехода “С” в “З” вопрос о выражении без означаемого переходит в вопрос о бесе означającego, переводящем его в автомат-минитель.

К.В.: Я хотел бы сделать до-нулевое замечание. Мы назначили в качестве текста фрагмент сверхповести Хлебникова “Зангези”. Даже оставляя в стороне вопрос о точности наших представлений о тексте (Зимовец замечательно отметил, что наши представления бегут впереди нас), мы должны своим ухом помнить — при этой процедуре в нашем взгляде волей-неволей присутствует предпосылочный мусор в презентации объекта. Текст Хлебникова исторически состоялся, в нем есть то, что я называю контекстом патины. Мы читаем Хлебникова и потому также, что его читали Другие, потому что эти тексты — исторически ставшая вещь, в них есть историческая нагруженность и восприятия, и отношения. Особенно отношения. Фактически мы сейчас уже читаем не текст Хлебникова, а многочисленные тексты из общений (обращений) с текстами Хлебникова. Кроме того, есть подозрение и в неустойчивости нашего чтения — мы ли читаем? или нами читает филология нашего времени? Ведь эстетическая нагрузка нашего глаза и уха отягощена тем, что тексты Хлебникова в своей ставшести получили статус гражданственности, и вокруг них образовался мифологически-правовой охранительный круг. Этот мусор предпосылочных факторов, имеющихся в нашем сознании, необходимо постоянно элиминировать, разбивать, выходя на свое разглядывание текста.

А теперь о самой работе в пространстве нуля. Из общего текста выдирается для разглядывания текст Плоскость мысли IX. То есть из всего вспаханного поля я огораживаю кусок, фактически устанавливаю взглядом границу в массиве текста. Акция вырубания являет, что из ландшафта текста, в котором как бы предполагается наличие означаемого (видимого и различимого), выделяется горная площадка неясности, на которой, возможно, означаемое скрыто и не видно без

оснащенности взгляда специальными приспособлениями. Произвольность и некорректность этого акта очевидна. Во-первых, ведь если весь текст “Зангези”, вообще текст (хотя бы как организованное различие), есть открытость, текучесть, принципиально незакрытое пространство означивания (тартусская позиция), то его частичное обрушение закрывает его в своем движении как к началу, так и к концу. Он не развертывается, и в нем разрушается как раз организация того различаемого, что его и сплетает. Более того, на весь остальной текст “Зангези” падает тень от границы, от изгороди, которой я отделил текст этой Плоскости. Таким образом тексты предыдущий и последующий переводятся в статус смазанного массива, покрываются пленкой матовости, где нет и невозможна различаемость. В таком случае текст “Зангези” становится не-этовостью, в него заведомо вбрасывается вещественность, которая, возможно, наличествует и в Плоскости мысли IX.

Во-вторых, эта часть текста не существует сама по себе, как отдельный Текст. Она не просто связана, она намертво прикреплена, скреплена с каждой отдельной другой Плоскостью и со всем массивом текста “Зангези”. И в-третьих, фантомально-мистический персонаж Зангези являет собой феномен онтологического движения некой реальности, простирающейся над Гангом и Замбези, центрирующей всю колоду плоскостей слова. И тогда Плоскость мысли IX фактически некий суб-текст, не в смысле подтекста, а в смысле той части Текста, которая амбициозно претендует на равноправность и равновеликость со всем текстом “Зангези”. Из тех Плоскостей, которые обрамляют Плоскость мысли IX, Зангези фактически уже соткан (сплетен — *texture*) в качестве поля смысла. Т.е. уже при первом приближении ясно, что наша а=трангрессивная выходка обернулась тем ударом мести, при котором означаемое сразу же, еще до чтения (т.е. перечитывания) предполагается, и оно предполагается вынесенным за текст, за этот суб-текст.

З.С.: Мне думается, что Ваш, Витим, пафос “вырванного куска” чрезмерно преувеличен. Конечно, при анализе мы должны иметь в виду все произведение, что, я надеюсь, каждый и делал. Хотя я лично и не являюсь сторонником генерализованной идеологии чтения, пытающейся микрофизику множественности потоков сигнификативного становления подчинить единому (и, как правило, единственному) тотальному сюжету, идее, теме и пр. Плоскость мысли IX — только наиболее показательная часть схлопывания содержания. И никто не посягает на попытку прочитать ее из “другого места”: здесь мы все вольны. Я, например, в значительной степени опирался при работе

на Плоскость XI и на Плоскость XV, которые для этого не менее показательны.

К.В.: Возможно я излишне доверился Хлебникову, который во введении сказал, что “сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков...” и тем самым как бы разрешил рвать сверхтекст на части, и в одной части искать то, что там, возможно, и не содержится, поскольку находится хотя и в этом доме, но в другой комнате. Все Плоскости, все эти суб-тексты держит Зангези — двуполая вещественность — Замбези и Ганг, выступающий и являющийся родителем отдельных суб-текстов. Но и как соединение, которое возможно только в птице, так как именно нечто птичье способно быть над Гангом и Замбези, так и Зангези птеродактелевидностью Хлебникова является отце=матерью Плоскости мысли IX.

Суб-тексты “Зангези” не могут не быть фонологочентричными, потому что тело письма здесь — это голос, голос раздающийся, который умирает в звукописи и в тексте. Этот фалломорфный голос птицы, совершающий означивание, все время являет взгляду как означающее производит означаемое, и обратно, в результате чего происходит слипание плана содержания и плана выражения. Фактически суб-текст Плоскость мысли IX этим слипанием замкнут. Если удастся его открыть, то текст может очнуться.

Итак, интенция поиска означаемого в Плоскости мысли IX еще до чтения этого фрагмента устанавливает, что означаемое, которое предполагается здесь отсутствующим, лежит (находится) заведомо вне этого суб-текста, а тексты первых восьми Плоскостей контекстуально являют то означаемое, которое может располагаться (или предполагается, или предполагается, что оно там располагается) вне суб-текста Плоскость мысли IX. И это само по себе говорит как о том, что в данном избранном фрагменте мы или насильственным образом исключили возможность означаемого переносом своего внимания, так и о том, что здесь может и не оказаться означаемого.

Для того чтобы разглядеть суб-текст Плоскость мысли IX, я должен был бы вглядеться в весь текст, в сверхтекст “Зангези” еще до того, чтобы увидеть данный фрагмент как фрагмент. И для того чтобы увидеть из чего сотканы, сплетены и данный суб-текст, и текст “Зангези”, в силу того, что ткач текста — Зангези — то сливается с Хлебниковым, то выступает из него, мне нужно увидеть положение фигуры ткача (поэта), увидеть, как двигаются его руки, ноги, как ходит его кадык и шевелятся уши, когда идет именно эта звукопись, и сопоставить ее с той фигуративностью ткача, когда он сплетает текст как словопись. Но увидеть эту физику тела, которое мне представля-

ет текст, я не могу — Хлебникова живого (так же, как и Зангези во плоти) нет, есть только писанный текст. Звукопись же суб-текста Плоскости сразу же обнаруживает то, что, во-первых, звукопись Хлебникова в определенном отношении есть криптограмма, тайнопись (этой записью стерта или скрыта тайна голоса), а во-вторых, эта звукопись, обвалившись в текст, стерла личностную сюжетную протяженность Хлебникова, стерла и выпуклость его индивидуальности, оставив один автоматизм записывания. И тогда я вижу лишь, что это птица, в которой стерта определенность формы птицы. Суб-текст мне только говорит о том, что эта криптограмма голоса молчаливой птицы, птицы вообще, не мужского или женского рода, а некоторого птицеподобного андрогина. Суб-текст являет мне абстракцию птицы, ее геометрию, фактически явив в графике букв мертвый голос, предьявив труп голоса.

В-третьих, обнаруживается, что эта тайнопись стирала именно тело, тело как визуальную представленность в мире; и в-четвертых, поскольку тайна, омертвевшая, запечатанная в тексте-криптограмме, явила свое обозначение как звукопись (то, что мы называем звукописью), и это обозначение, этот знак являет нам, что у Хлебникова существовало, наличествовало желание отказаться от письма. Ему желалось не писать, но в то же время он стремился быть... текстом. Текст “Зангези” являет собой некий аналог непорочного зачатия, страсть к рождению без соития. Это требует, конечно же, аргументов и, прежде всего, фактов.

Возможно, их могут представить этологические моменты из жизни, рождения и смерти такого рода птицы. Но это этология птицы, индивидуация которой не поддается отличению, поскольку это существо андрогинно. То есть мы не можем слышать и знать крик этой птицы, так же как мы не можем знать родовых, слуховых, голосовых и зрительных возможностей Феникса. Потому что Феникс — это только след существа, способного рождаться из огня, а возможно (как саламандра), и жить в пламени. В этологии Феникса мы можем только знать, что он испытывает удивление, переживает удивление, когда, “предвидя свой конец, сжигает себя в гнезде, полном ароматических трав” (МНМ, т. 2, с. 560), удивление тому, что он вновь родился для жизни и тому, что ему снова придется предвидеть свою кончину и снова сжигать себя. (Тоже, между прочим, труд Сизифа!) Или мы можем знать по другой версии (здесь Феникс этологически более сходен с птицей Зангези), что Феникс умирает, вдыхая ароматы трав, и из его семени рождается новая птица, которая из Эфиопии (или Аравии) переносит тело своего отца в Египет, где жрецы солнца сжигают его. Учитывая, что в свертхтексте “Зангези”, как и вообще в творениях

Хлебникова, пространство Египта спедализовано предельно четко, родство Феникса и Зангези достаточно очевидно. Они сходны этологически: они улетают из Египта в Аравию, Эфиопию, Индию затем, чтобы вернуться, то есть акция возвращения приравняется к акту рождения. Это дает основание думать, что акция рождения-возвращения связана и обуславливается возможностью, “крылышка”, как сказал бы сам Хлебников, соединять в одной плоскости точки пространства и времени.

Поскольку же “Зангези” — вербальный текст, то птица Зангези — словесное существо. В результате его акций (речи, крика, пения) время разбивается словом. Слово лепит глину времени и вылепливает из него неземные протяженности, нелинейные плоти материков. Слово обламывает колею времени, и птицей Хлебников размахивает крылом времени и крылом пространства. Топосом Зангези часто скручивает время в орнамент, состоящий из секунд, столетий, тысячелетий. Само время обретает облик птицы, рожденной из пламени, которое являет нам колебание пространства материи. То есть весь сверхтекст “Зангези” есть организация различий различных взмахов космической птицы, и сама эта птица фактически и являет протяженное означаемое, располагающееся до текста Плоскости мысли IX.

{4-я часть}

Смысл отсутствия смысла

К.В.: Предшествующая часть наших размышлений указывает на изменение всей предшествующей проблематики — *без означаемого* сменилось на *без означающего*. Может быть, это ошибка спонтанная, но многозначная. Обратите внимание, концепция Долгопольского теперь строится на возможности текста *без означающего*. Тем самым он, по существу, кардинально переакцентировал вопрос. Хотя мысль об автоматизме означающего совершенно прекрасная и справедливая, означаемое здесь остается все еще нерешенной проблемой.

Между тем Зимовец продолжает попытки решения проблемы означаемого. Хорошо, Зангези — это орган речи языка. Но языка какой птицы (ведь Зангези — это еще и птица)? Означаемого нет, поскольку орган речи — это формация только означающего, плана выражения.

Если же нет означаемого, то почему мы все-таки это читаем? Т.е. достаточно ли для процедуры чтения одного означающего? Словно

мы имеем производство, но не имеем продукта этого производства. Означаемое как бы проваливается в дыру времени и пространства из-за актуализации события как такового. Тем самым означающее производит только событие, акт события или даже точку события, используя топысы без означаемого, как формы своего самостоятельного присутствия.

Мы уже говорили о визуализации речи, о звукописи. Но Зангези как птица-бог ургийно творит совершенно новую звукореальность, еще никем не слышанную, т.е. творит ее не из других звуков, а из молчания, из прежде отсутствующих звуков. Означаемое выступает здесь в качестве нового тела, еще небывалого и поэтому напрямую визуально необнаружаемого. Когда Зангези-птица пытается осуществить перевод своего крика в понятный человеку язык в том глоссарии, который расположен дальше в тексте после криков, этот глоссарий парадоксальным образом не выходит на уровень означаемого, но остается просто другим текстом. Он даже не намекает на то, что производится в этих вскриках “Гоум. Оум... Боум... Глаум...”

З.С.: По-моему, это просто огласовка колокольного набата...

К.В.: Возможно, в тексте Хлебникова нет ничего значащего, а есть только подразумеваемое или отображаемое. То что отображаемое, что отражает пустоту, ничто. И тогда означаемое — это тень означенного. “Пойте все” — говорит Зангези и делает нас содружеством колоколов. И даже исполняя вариации на ОУМ-ИУМ-БАУМ, двигаясь по его “путестану” (“мой мозг — путестан звуков”), мы их исполняем басом, альтом или сопрано, т.е. в зависимости от того каким тембром и диапазоном нас одарила природа, поскольку фонематически мы их означиваем различно. А раз так, то там есть текст в качестве организации такого рода различий, но нет означаемого, есть только синтагматические поля, лишённые содержания. В синтагматиках Плоскости мысли IX вместо смыслов выступают сигналы звуков оу-иу... Артикулируя, мы вызываем сущее звука, на мгновение означиваем, и это означаемое умирает вместе с окончанием артикуляции.

Д.С.: Умирает с окончанием. Но еще и рождается, возникает только в момент завершения фразы, т.е. ретроактивно рождается в момент своей смерти.

К.В.: В целом же текст построен как литургия и требует анализа в музыковедческих терминах: там совершенно очевидно наличествуют ектеня, песнопения. Но они совершаются в какой-то птеродактелевидной огласовке и каким-то андрогинным существом. Организация его голоса-звучания нам просто неизвестна. Это дает начало новому вопросу: является ли вообще Плоскость IX в “Зангези” тек-

стом? Ведь главное, что там производится, — это голос умершей птицы, которая умирает прямо в этой огласовке. Сама процедура означивания производит акт смерти и предъявляет нам мертвое тело голоса.

Д.С.: Прежде всего, я хотел бы отметить, что в постановке вопроса об означивающем нет ни подмены, ни путаницы. Здесь присутствует сдвиг, откос и не случайного характера. То, что дано в качестве подзаголовка третьей части, — не переформулировка вопроса, это версия ответа на наш исходный вопрос. Текст, построенный на автоматизме означивающего, это текст без означаемого. В этом автоматизме невозможно удержать элементы означивающих в статике, они вырываются и продолжают динамическое автопроизводство без смычки с означаемым.

К.В.: Можно сказать, что текст обнаруживает усталость. Тело устало, оно закончилось и даже погибло в тексте.

Д.С.: Возможно. Хотя может быть именно так оно обнаруживается?

З.С.: Конечно же! Ведь, что такое артикуляция? Это работа разума с телом, с органами речи. Когда же сознание схлопывается, заканчивается (в Вашей терминологии) как некоторая инстанция, конституирующая и контролирующая сигнификацию, тогда-то и начинается тело. Поток означивающих производится органом речи (или машиной письма, если говорить о тексте) без семантического скрепления. По существу, конечно, это и не сознание закончилось. Здесь заканчивается процедура семиозиса, т.е. процедура соотнесения означивающего с означаемым. Смысл отпадает, а план выражения функционирует. Так говорит тело.

При обозрении наших дискуссий у меня возникло к ним двойственное отношение. Во-первых, углубляясь в проблему соотношения текста и означаемого, я понял, что наш вопрос поставлен некорректно. Он просто не имеет места в сфере профессиональной интерпретации. Если этот вопрос поставлен в семиотической плоскости, то он там просто невозможен: ведь в постановке вопроса имеется явное предположение об устройстве текста, о его составе. Но мы почему-то не выделяем минимальных единиц, из которых он состоит. Что это за единицы, возможным или невозможным элементом которых является и означаемое? Конечно, это знак. Означаемое — не часть текста, а часть знака. Оно соотносится не с текстом как таковым, а с означивающим, т.е. материальной стороной знака. Это все равно что задать вопрос — есть ли в молекуле протоны? — игнорируя атом. Наш вопрос смешивает два различных уровня при редукции опосредующего звена.

Далее, если минимальной единицей манифестации текста является знак, то вопрос должен иметь следующий вид: есть ли знаки без

означаемого? Упущение знака при проблематизации текста и делает наш исходный вопрос некорректным. Ведь если предположить, что вопрос скрывает иное устройство текста, а именно: минимальной единицей манифестации текста является означаемое, т.е. вот эти закорючки-крючочки-кружочки — следы какого-то ужасно пьяного насекомого, то причем здесь означаемое? Его по сути здесь и не предвидится. Означаемое является единицей знакового порядка, и только в этом порядке оно может быть проблематизировано. Но текст является не лексической, а синтагматической единицей, т.е. превышает элементарный лексический уровень, из которого ставится вопрос об означаемом.

И второе. И все же вопрос имеет смысл. Он поставлен так, как его поставил бы ребенок, постоянно обнаруживавший эти термины в разных контекстах. И в этой детской простоте постановки вопроса обнаруживается удивительная умность и продуктивность проблематизации языкового поля. Такого рода позитивная неправильность вопроса порождается общей позитивной неправильностью языка, транслирующего одни и те же слова или термины в различные контексты.

Настойчивое определение терминов — это попытка (конечно, безуспешная) навести окончательный порядок в словоупотреблении. Так, лингвистические определения, предварительно принятые нами, при дальнейшем их развитии выявили отсутствие в тексте лингвистического поля содержания. Но последним не исчерпывается смыслообразование: существуют философские, психоаналитические, культурологические, художественные производства смыслов. То, что в лингвистическом смысле равно нулю, может обладать глубиной содержания в психоаналитическом или философском смыслах, которые конституируют поле содержания, исходя из собственной специфики семиозиса. Последний может приобретать, например, в религиозном восприятии мира, форму аллегорезиса или фантазирования. Там, где лингвистика фиксирует нуль означаемого, вполне возможен иной интерпретационный уровень разрешимости, вполне возможна иная ментальная оптика.

В то же время не вполне ясно, почему такое “оптическое” переключение возможно. По крайней мере, в философии языка я не обнаруживал ответа на этот вопрос. Сканирование, переход от дискурса к дискурсу, от одной системы понимания к другой — почему это возможно? Что управляет таким переходом и самой возможностью? Какого рода гомогенность языка скрыта за различием?

Д.С.: Я думаю, дело в том, что с давних пор существуют специфические отношения между философским и лингвистическим дис-

курсами. Ваш вопрос археологического свойства, потому что он восходит еще к Аристотелю. Именно у него образовалась сцепка между грамматическими и философскими категориями. В трактате “О категориях” была установлена гомогенность между десятью основными категориями мысли и языка, устройства предложений. Я полагаю, что именно с этого времени образовалось производство взаимоконверсии этих категорий, образовался мостик, по которому возможен переход между системами, дискурсами.

Но существовала ситуация, когда такого перехода не было: это времена Платона. Для него речь, язык — это область мимесиса, и она никогда не могла быть гомогенной мысли, она всегда модальна по отношению к мысли.

К Вашей, Сережа, аргументации, приписывающей означаемое знаку и проблематизирующей идиотичность вопроса об означаемом в тексте я хотел бы заметить еще, что такая матрешка, которая предполагается здесь: текст — знак — означаемое с означающим или, в Вашем очень ясном примере: молекула — атом — ядро с электронами, сама по себе здесь не очень подходит, так как лишь текстура крепит означаемое к знаку, возводит знак до функции означающего. Здесь, возможно больше подойдет пример с тройным замкнутым обменом, а не с линейной, принципиально незамкнутой матрешкой. А значит, и в этом смысле исходный вопрос не был уж столь безнадежным. Впрочем у данной проблемы есть еще одна сторона: о каком типе знаков идет речь, о типе восходящем к знаку-иероглифу, о типе, восходящем к знаку фонологического письма, или же о типе знака консонантизма, в котором и “буква” и любое множество букв могут воспроизводиться и в идеографической, и в диаграмматической, и в фонологической, и в логосемантической (список открыт) сцепленности со смыслом. Я сейчас сказал “и” в смысле “и” и “или”. И я сейчас имел ввиду не только и не столько лингвистический, семиотический вопрос, сколько семиологический.

К.В.: В принципе, вопрос о том, из чего же состоит, из чего сплетен текст, для меня связан с метафизикой вопроса, а не с лингвистикой. Конечно, смысл текста может выявляться там, где с лингвистической точки зрения его нет. По существу мы столкнулись с вопросом, по которому разошлись французская и немецкая философии. Современная французская школа мысли не принимает современную германскую, и наоборот, несмотря на то, что Ницше, Гуссерль и Хайдеггер, например, являются основными фигурами в работах Ж.Деррида. Их основное различие заключается в представлении о том, что лежит в доязыковой реальности.

З.С.: Что ж, блуждание, левитация слов в разных предметных областях — это, очевидно, основное свойство языка. Знак не поддается окончательной и однозначной локализации в поле того или иного производства смыслов. Знак — экстерриториален, его невозможно приписать, как крепостного крестьянина, к какой-то одной профессионально разработанной области. Язык номадичен. Может быть это его основное свойство и способ воспроизводства. Французская и германская философские диспозиции определены, соответственно, семиотическим и метафизическим полями, посредством которых они пытаются взять язык в свое безраздельное владение. Это, конечно, две претензии профессиональных потребителей языка на владение его сущностью. Тогда как последняя остается свободной и неуловимой, принадлежащая всем и никому в отдельности.